

ВЕНА В РУССКОЙ МЕМУАРИСТИКЕ

Сборник материалов

Составитель Е. В. Суровцева

Казань
Издательство «Бук»
2016

УДК 821.161.1(82-94)
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
В29

В29 Суровцева Е. В.

Вена в русской мемуаристике : сборник материалов / Сост.

Е. В. Суровцева. — Казань : Изд-во «Бук», 2016. — 152 с.

ISBN 978-5-906873-26-2

В книгу вошли тексты русских путешественников, описывающих столицу Австрии Вену — там побывали А. И. Тургенев («Венский дневник»), Ф. Ф. Торнау («От Вены до Карлсбада (Путевые впечатления)», «Воспоминания барона Ф. Ф. Торнау»), М. Хохловкин («Из венских воспоминаний 1913–1914 г.»). В сборник включено также приложение, в которое вошла статья А. Зорина «“Венский журнал” Андрея Тургенева», и комментарии.

УДК 821.161.1(82-94)
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-906873-26-2

© Суровцева Е. В., составление, 2016
© Оформление. ООО «Бук», 2016

От составителя

В предлагаемый на суд читателя сборник вошли тексты дневниково-мемуарного жанра, принадлежащие перу выдающихся деятелей русской культуры и посвященные их пребыванию в Вене. Это такие тесты, как «Венский дневник» А. И. Тургенева (1802), «От Вены до Карлсбада (Путевые впечатления)» (1872) и «Воспоминания барона Ф. Ф. Торнау» (первая публикация — посмертная — 1897) Ф. Ф. Торнау, «Из венских воспоминаний 1913–1914 г». М. Хохловкина (первая публикация — 1915). В приложении помещена статья А. Зорина «“Венский журнал” Андрея Тургенева». Завершают сборник комментарии к текстам.

Приношу свою глубокую благодарность студентам русского отделения филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Кирилловой Виолетте Вячеславовне, Макаренковой Ольге Николаевне, Родионовой Марии Владимировне и Старовойтову Илье за неоценимую помощь в вычитывании текстов.

Тургенев А. И.
Венский дневник

Копия с журнала А. И. Т. 1802 года

17 февраля / 1-ое марта¹

Наконец мы и в Вене, любезный друг мой! Не больше получаса, как я возвратился от нашего Посланника Графа Р.² Долго дожидались мы его в передней; взоры мои везде встречали пышность и богатство. Сначала признаюсь, обыкновенная застенчивость моя, от которой я никак не могу отвыкнуть, овладела мною. Делать было нечего; и я стал философствовать, хотя и поневоле, потому, что не это первое должно бы прийти в голову человеку, который одиннадцать суток кряду скакал день и ночь. Я сравнивал в мыслях моего Графа с каким-нибудь славным писателем, к которому я пришел знакомиться; и блестящие покои его стихим кабинетом последнего. У одного все было чужое и он всего мог в одну минуту лишиться, другой всему придавал цену собою; никакая земная власть не могла лишить последнего того, что заставляло лишь уважать его; первый ничем от себя собственно не зависел; последний старался бы узнать во мне человека, не уважая предрассудков светского общежития; первый, может быть, оскорбил бы... но продолжай если хочешь сам это сравнение; а я между тем прощусь с тобой до завтрашнего дня; завтра, может быть, опишу тебе здешний редут, и себя самого в редуте.

18 февраля / 2 марта

Утро

Поверишь ли ты, мой друг, что я с самой завидной стороны представляю себе теперь твой образ жизни? Эта независимость эта свобода располагать собою и своим временем; тихой, уединенной угол твой — мой друг! не желай перемены судьбы твоей, или желай только для того, чтобы почувствовать еще живее всю ее цену.

Больше часа как я сижу здесь один, в большой, холодной комнате, и собираюсь идти к послу. Я занимался бы самыми неприятными, печальными мыслями, если бы не пришла мне вдруг мысль о прошедшей

¹ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 272. Л. 91 – 97об.

² Граф Андрей Кириллович Разумовский (1752 – 1816) – русский посол в Вене.

жизни моей, мысль о том, что я возвращусь когда-нибудь и в Москву, и что все любезнейшие для меня предметы снова оживут в глазах моих, так как они ожили теперь в моем сердце. Почти во всю дорогу это меня занимало. Москва! Москва! Когда я говорю об этом с тобою и не могу почти удержать слез моих, то утешаюсь во всем, и благодарю судьбу даже и за разлуку с вами. Я бы никогда не был так привязан к друзьям моим, если бы с ними не расставался; и будучи всегда в Москве, я бы никогда может быть столько не любил ее, и никогда бы не чувствовал того, что теперь чувствую.

Но что же всего больше меня смущает? То, что я несвободен. Вместо того, чтобы идти, одевши кое-как бродить и рассматривать город, я должен, как говорится, во всей форме, идти по должности к Графу, и вероятно, представлять там довольно смешную фигуру. Одним словом: начало моего пребывания здесь очень невесело; почему знать? может быть это хороший знак для будущего; а между тем:

И в самых горестях нас может утешать
Воспоминание минувших дней блаженных!³

20 февраля / 4 марта

Сей час только, мой любезнейший друг, пришел я из театра. Представляли *Эмилию Галотти*⁴, и я провел несколько очень, очень приятных часов. Одардо играет здесь Брокман⁵, и я был очень доволен его игрою. Он произносил и играл сильнее нашего Померанцева⁶; но Померанцев в многих местах играет выразительнее (*gedämpfter*) напр(имер) он гораздо лучше, гораздо ужаснее произносит слова: и когда он прострет к ней сладострастные свои объятия, то да услышит он посмеяние ада, и пробудится⁷! и вообще в голосе и физиогномии его больше изменений; но в конце пьесы Брокман играет, кажется, гораздо его сильнее. Все актеры, кроме Эмилии, соответствовали игре его, и составляли

³ Строки из стихотворения Андрея Тургенева «Элегия».

⁴ «Эмилия Галотти» – тираноборческая трагедия Э.-Г. Лессинга (1772).

⁵ Иоганн Франц Брокман (1745 – 1812) – актер и директор венского театра. С 1800 г. перешел на роли отцов. В пьесе Лессинга исполнял роль Одоардо (у Тургенева – Одардо), отца Эмилии, в конце трагедии закалывающего собственную дочь по ее настоянию.

⁶ Василий Петрович Померанцев (1736 – 1809) – актер московского театра.

⁷ Фраза из монолога Одоардо во 2-м явлении V акта.

превосходное целое. Между прочими мать и графиня Орзина играли прекрасно. Последняя кажется понимала роль свою, и умела выразить ее превосходно.

Я еще не осмотрелся в Вене. Третьего дня провел я всю ночь в редуте⁸ и видел всю венскую публику; всего забавнее для меня было видеть с какою важностию немцы и немки танцевали менуэт самый степенный. — Не можешь вообразить себе, как узки здесь улицы; две кареты с трудом могут разехаться, а дома выше петербургских; чувствуешь даже какое-то стеснение в груди, особливо будучи в первый раз и желал бы в одну минуту очутиться за городом и вздохнуть свободнее на чистом поле.

Всего более радует меня теперь весна, которой однакож я не успел еще насладиться — так как бы мне хотелось. Вам еще долго ждать ее.

21 февраля / 5-е марта.

Я смотрел *волшебную флейту*⁹. Какие голоса, какие голоса мой друг! Не говорю уже о декорациях, которые кажется ничего не оставляют желать, ни о музыке, которая так славна во всей Европе. Новые картины беспрестанно поражают взор твой. Дикие степи, храмы, зеленые рощи, рай, ад, шумящие водопады и реки — все так быстро сменяется, все так очаровательно, так волшебное.

22 февраля / 6 марта.

И едва было не усакал я из Вены! Вчера призвали нас обоих в канцелярию Графа, и сказали, что один из нас должен быть готов через два дня к отъезду. Нам самим оставили выбирать. Мы оба хотели бы еще пожить в Вене. Но товарищ мой имел причины остаться, которых не имел я; я имел свои причины уехать, которых не имел мой товарищ, и потому я решился¹⁰. Это было по утру; я был не весел; должен был идти к послу,

⁸ *Редут* — венский бал с особым регламентом, по которому дамы носят маски, а кавалеры нет. Первоначально проходил в редутных залах императорского дворца, потом переместился в оперу.

⁹ «Волшебная флейта» — опера В.-А. Моцарта (1791).

¹⁰ *Товарищ* — вероятнее всего, Константин Яковлевич Булгаков (1782 — 1835) — государственный деятель и дипломат, в 1802 г. состоял при русской дипломатической миссии в Вене. Булгаков часто упоминается в венском дневнике Тургенева (РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1239). В Вене у Булгакова был бурный роман с Джоной Вигано, сестрой знаменитого балетмейстера Сальваторе Вигано (см.: Андрей Тургенев. Письмо К. Я. Булгакову — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной

ехать с визитами — все это было мне в тягость, все это еще больше утвердило меня в моем намерении, которого, впрочем, и переменить было уже нельзя, потому что о нем было сказано Графу.

Но после обеда, когда я, освободившись от всех скучных должностей этикета и службы, собрался в театр, и вышел на кре(по)стной вал, где пригрело меня весеннее солнце, когда я сидел в театре и с восторгом смотрел на обвороженную флейту — тогда-то почувствовал я живо, чего я лишусь, уехав так скоро из Вены. Все показалось мне вдвое, вчетверо привлекательнее; но раскаиваться было поздно. К счастью, сегодня мой отъезд отменили, и может быть еще пробуду здесь около месяца.

Сегодня опять был я в театре, и опять имел случай удивляться некоторым немецким актерам, и, конечно, из первых Брокману. Но и Ланге¹¹ — так кажется зовут его — играл превосходно. Отчаяние, отчаяние во всей силе и мрачности изображалось в его виде и голосе, в его положении, когда он узнает об измене любовницы, которой он жертвовал именем, спокойствием своего семейства, счастьем своей жизни, своей честью.

Когда ужасная мысль о самоубийстве поселяется в его сердце, когда он увещевает семилетнего младенца, сына сестры своей, быть всегда честным, добродетельным, и хранить истину. Он трогал меня до слез. Еще несколько актеров играли прекрасно и умели выразить все тонкие оттенки Ифландовой драматической музыки (это уж слишком по-Карамзински). Играли его пьесе *Der Dienstwille*¹². Я бы желал видеть в ней нашего Померанцева; но и сегодня заметил я, что Брокман играет сильнее: может быть во многих местах был бы он трогательнее. Не менее удивлялся я Ифланду, разнообразию его характеров, которые кажется во всех пьесах различны, и тонкости его наблюдательного духа. Коцебу в этом перед ним очень беден. Все его характеры, особенно невинные, резвые девушки, везде во всех пьесах одинаковы; везде страсть изображается у него в сильных чертах; и от того то может быть пьесы его везде так хорошо приняты, потому что красоты их может чувствовать и самый необразованный человек; между тем как Ифландова пьеса может быть не имела бы никакого

библиотеки. Ф. 41. Оп. 138. Ед. хр. 21), напротив того, Тургенев был тайно помолвлен в России с Екатериной Михайловной Соковниной.

¹¹ Иосиф Ланге (1751 – 1831) – венский актер и художник.

¹² Желание служить (*нем.*). Тургенев или переписчик журнала неточно приводит название драмы Иффлада «*Dienstpflicht*» – «Служебный долг».

успеха на нашем Московском театре. Но в этом случае многое зависит и от актеров, и по моему мнению легче кажется хорошо сыграть пьесу Коцебу, так как я описал ее, нежели пьесу Ифландову. Помнишь как часто мы об этом с тобой рассуждали, и ты был согласен со мною.

Но я все говорю тебе о театре. Право о сию пору говорить больше не о чем. Я бы должен описать тебе мой образ жизни; но я не имею еще никакого образа жизни. Поутру встаю, и не знаю, где проведу наступающий день; ложусь спать и не знаю, что буду делать завтра.

На валу здесь гулянье прекрасное. Вал этот совсем не похож на Московский; гораздо просторнее и уединеннее. Он окружает крепость; виды вокруг его самые привлекательные, но всего больше украшает его теперь наступающая весна.

Здесь очень много красавиц. На улице встречаешь их на каждом шагу. Вообще молодые люди имеют здесь свежий и румяный цвет лица, особливо приятно ходить по улицам в воскресенье поутру, потому что народ ходит толпами, и улицы при том очень тесны.

Давид верно говорил не о немцах, когда сказал: и вино веселит сердце человека¹³. Если б ты видел, как немцы пьют самое лучшее токайское вино! Он сидит перед своей бутылкой в глубоком молчании; и вливает в себя самый сладостный нектар гораздо угрюмее, нежели как Сократ выпивал чашу смерти. Какие чудные люди! Но кофе и пиво сгущают кровь их. В трактире со мной обедали четыре очень милые девушки, хозяйские дочери, из которых старшей верно было не больше 17 лет, и что же? им поставили пребольшой графин пива, которое они пили стаканами, почти так точно, как мы пьем воду.

23 февраля / 9 марта

Укладывают мои вещи — я сижу в задумчивости и думаю о том, что здесь без меня будет, особливо, признаюсь, о театре. Может быть скоро будут играть *Бедность и благородство души*¹⁴; я воображаю Брокмана, особливо в последней сцене, и чувствую, что мне очень больно расставаться с Веной. — Сегодня поутру в другой раз объявили мне скорый отъезд.

¹³ Пс. 103, 15.

¹⁴ «Бедность и благородство души» – пьеса А. Коцебу. На сцене венского театра шла 29 апреля, когда Тургенев уже был в Петербурге.

Я был у обедни, которую отправлял Самборский¹⁵. Небольшая комната — церковные утвари сделаны со вкусом; певчие поют тихо и приятно. После обедни заходил к Самборскому; и долго-долго смотрел на картину, представляющую нашу В. К. Александру Павловну — во гробе, особенно на мертвое лицо ее. Ainsi s'eteint tout ce qui brille un moment sur la terre!¹⁶

Обедал сегодня у Графа Варжемона¹⁷, к которому имел письмо и посылку от Тимана¹⁸. Вчера поутру еще заходил смотреть церковь Св. Стефана, которая возбуждает благоговение по своей древней величественной архитектуре, и по ее пространству. Во всякое время дня находил я в ней молящихся в глубоком молчании, по большей части на коленях. — Я как будто в Магический фонарь посмотрел на Вену — передо мною мелькнули все ее здания, театры, кофейные дома, немцы с длинными трубками; мне показали расцветающую весну, зеленеющие поля — вдруг все исчезло, я в Петербурге, у нас зима, прости!

¹⁵ Андрей Афанасьевич Самборский (1732 – 1815) – протоиерей и богослов; сопровождал великую княгиню Александру Павловну (1783 – 1801) в Венгрию.

¹⁶ Так утешает все, что блистает на земле (*франц.*) – цитата из «Новой Элоизы» Ж.-Ж. Руссо. Тургенев использовал ее в качестве эпиграфа к своей «Элегии».

¹⁷ Граф Людвиг (Луи) Александр Варжемон (ум. 1821) – французский эмигрант, кавалер вюртембергского двора, в первые годы XIX в. высказывался за более активное участие России в европейской политике.

¹⁸ Иван Карлович Тиман (Johann Wilhelm Ludwig, 1761 – 1812) – доктор, приятель Ивана Петровича Тургенева, отца Андрея. См. о нем запись в дневнике А. Тургенева (РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 271. Л. 34об.).

Торнау Ф. Ф.

От Вены до Карлсбада (Путевые впечатления)

I.

Июль на дворе. Нестерпимая жара быстрым поворотом заменила холод, дождь и ветер, наводившие невыразимую тоску на всю живую тварь в продолжение весны и начала лета. Кутаясь во что потеплее, прячась под промокшие зонтики, придерживая шляпу свободной рукой, чтобы ветром не унесло, сновали по улицам пешеходы, сердитым взглядом опрашивая каждого встречного: когда же настанет тепло, когда же весну позволено будет назвать весной. Воробьи и ласточки на крышах громоздких хоромин, раздув перья, и потряхивая только мокрыми крылышками, для лучших дней берегли своё весёлое щебетанье. Извозчичьи лошади, на указной стоянке, поджав хвосты и понутив головы, с назад заложенными ушами, уныло следили за ручейками, струившимися по граниту скользкой мостовой. Извозчики, нахлобучив лоснящиеся каучуковые капюшоны, не приветствовали более проходящего. Да и куда же было ехать в такую погоду? По обыденной надобности венский житель средней руки, зачастую даже сын высокородной семьи, ради сбережения гульдена предпочитает, дождь ли, гроза ли, предаваться пешему хождению. Лишь новосозданный барон израилева племени в такой мере не роняет своего дворянского достоинства — гордо озираясь на скромных пешеходов с высоты ярко раскрашенного экипажа или «безвомерного», безжалостно пылит он им в глаза, или брызжет на них липкою грязью, дабы все они знали, что у него есть деньги, что он барон, что имеет пёстрый герб, и никогда не изменяет своему девизу: «sehr fein und immer nobel». Другое дело, когда ясный день манит на удовольствие в Пратер, в «Neue Welt», или к Шперлю, тогда все фиакры в разгоне, тогда Венец готов сорить десятками и сотнями гульденов. Таков венский обычай: иногда нечем заплатить за сапоги да за обед, а на прогул всегда есть деньги — одно австрийское министерство финансов вечно в них нуждается.

И вот миновало горе, солнце проглянуло, настали ясные, знойные дни, птички весело запели, а на людей легла новая беда — стало слишком жарко. Угоди же этой истасканной породе беспёрых двуногих! Холодно, ветрено — страдают нервы, ломота одолевает рыхлые кости; жарко — мускулы теряют должную силу, жёлчь переливается в водянистую кровь.

Нечего сказать, хороши стали мы, гордые венценосцы мироздания; каждая кошка свободнее вас от всякого калечества. Но как там ни рассуждай, а на самом деле невольно становится дышать городским воздухом. Солнце палит раскалённым лучом; жаром пышет от высоких каменных людских ульев, нагромождённых так жизнегубительно, ради скаредного барыша; пыль столбом взвивается к облакам и покрывает город сухим туманом, заедающим глаза. Некуда укрыться от духоты и от скуки. Пратер потерял свою главную прелесть. Весенние посетители его, порешив важный общественный вопрос, касательно бегового достоинства «Capitan», «Miss Fly» и «Beinstierl»; после скачек разъехались на все четыре стороны света, кто в деревню, кто на воды, а кто просто за город, не теряя из виду родной колокольни, под сенью которой родился и намерен закрыть глаза. Заменяла их летняя публика, не щеголеватая, но зато пёстрая, шумливая, наполняющая Пратер пивными испарениями, да запахом колбасок и нестерпимо душистых крейцерных сигар. Следственно, не ищите в Пратере ни свежего воздуха, ни особенно заманчивого развлечения для глаз. Штадтпарк, когда с закатом солнца наступает час, в который запираются венские лавки и магазины, оживает, подобно встревоженному муравейнику. Носы крючком, чёрные бороды и ноги с лёгкою кривизной преобладают в густой толпе кавалеров, с отвагой рисующихся пред прекрасным полом, окаймляющим тесные дорожки парка, благовоспитанно восседая на бесконечных рядах наёмных стульев, вперемешку с отъявленными любезниками и с разными стариками, предающимися отдыху без всяких других затей. Часто случалось мне в долгие летние вечера, когда обстоятельства не позволяли покинуть опустелого города, сидя на этих стульях, убивать время, рассеянно глядя на гуляющую публику, но, признать, всегда садился на них с чувством невольного опасения, после одной, на моих глазах случившейся катастрофы.

Нагулявшись однажды вдоволь, я стал искать свободного места для отдыха. Всё, что можно было окинуть глазом, было занято: порожними оказались только два стула возле какой-то порядочно одетой молодой девушки, не грешившей и личиком. Чтобы не возбудить в ней мысли, будто ищу нескромного сближения, я сел стулом дальше, оставив между нами, на моё счастье, пустое место. Говорю, на счастье моё, потому что мгновение спустя на деле увидел, от какой жалкой участи меня предохранила моя добродетель. Молодой, щёгольски разодетый господин, проходя

медленным шагом, с нескрытым удовольствием остановил свой двойной лорнет на моей соседке. Желая продлить приятное впечатление, которое она имела счастье на него произвести, он сделал быстрый поворот с прямого пути, и грациозно раскинулся на стуле, стоявшем между мною и предметом его благосклонного внимания. Но едва коснулся он седалища, как ноги его медленно стали отделяться от почвы, выписывая на воздухе движения, будто хозяин их собирается плыть на спине; в то же время я почувствовал, как рука его скользнула по моему локтю, и вслед за сим мой стул начал уходить из-под меня. Оглянувшись, я понял, в чём дело: спинка стула, на котором он уселся, так ловко склонилась долу под углом сорока пяти градусов, и сидок, судорожно уцепившись за оба соседних стула, балансировал телом и ногами, тщетно стараясь удержать потерянное равновесие. Общая, неотразимая опасность угрожала нам троим. Девушка, сидевшая слева, я справа, ради вашего обоюдного спасения, поднялись разом. Это довершило судьбу несчастливца. Красивыми лаковыми ботинками описав восходящую дугу, вместе со своим стулом рухнул он головой в кусты, не успев выпустить из оттопыренных рук и наших двух стульев. На несколько секунд его подошвы и дюжина железных ножек обратились к горней синеве, будто грозили небесам, и только нехотя решились опуститься на траву, не чая удержать за собой поле победы.

Соседка закусил губы; напротив нас, в галерее зрителей раздался звонкий хохот; любопытные стали сбегаться; я сделал движение помочь соседу.

Не без труда выкарабкавшись из густого кустарника, обчистившись и расставив стулья по местам, фронт уселся, приговаривая, что всякое падение смешно, но что и парковая администрация обязана заботиться, чтобы гуляющие не ставили подобных ловушек, могущих, пожалуй, послужить поводом и к действительному несчастью. После того он скрылся не раскланявшись. Полагаю, не увидит его более аллея, ознаменовавшаяся для него такою горькой неудачей, а я с той поры в Штадтпарке не сажусь ни на один стул, не испытав предварительно, тверда ли почва, в которую упрутся его тоненькие ножки.

Богат парк цветами, пространный скат к нижнему саду алеет розами самых редких сортов, но небогат он красавицами в летнее время. В деревенской тишине, или под тенью загородных садов освежают они свои прелести, подготавливая себя на зимние подвиги, одни на паркете

у княгини Ш., да у посланника Н., другие у Швендера и у Швота. Декорации разные, актёры разные, а пьеса, взглядишь, да прислушаешься, ведь разыгрывается одна и та же. В городе остались только служащие, да торговцы, да кому не на что нанять уголок в Бадене, в Фёслау, в Гицинге, в Дёблинге, да в Гейлигенштадте. Поэтому не весьма соблазнителен вид представительниц прекрасного пола в Штадтпарке: много отживших, рукой времени изборождённых обликов, много втуне истраченных белил и румян, горой взбитых не своих волос, чудовищных шиньонов. И ежели между ними мелькнёт хорошенькое девичье личико, так разве только для того, чтобы тем неприятнее напомнить о том, чего недостаёт большинству посетительниц, подобно тому как свежий весенний цветок посреди пожелтелых осенних листьев, вместо приятного, произведёт одно безотрадное впечатление. Толпами, взявшись под руку, или возле своих неуклюжих супругов и отцов, гуляют барыни, желающие в полном блеске выказать себя и свой вычурный туалет; будто подраженные за дорогую плату, метут они дорожки своими длинными шлейфами, и опять пыль ест глаза, и опять дым сигар, которыми вооружены сидящие и гуляющие кавалеры, щекошет ноздри, и скребёт горло. Немец ни на шаг, ни на одну минуту не расстается с курительным снадобьем; полагаю, он слит с табачным соском во рту; на улице встречал я без сигары лишь сотого человека, а девяносто девять без всякого человеколюбия зажжёнными сигарами чудовищной длины так и целят встречному прямо в глаз. Одно средство уберечь зрачки — всегда иметь тросточку наготове для отвода глазам грозящих сигар. Чуть задумался, и не пеняй, коль очутился кривым.

А Фольксгартен, знаменитый Фольксгартен, в котором не менее знаменитый Штраус, кривляясь, дирижирует оркестром, куда собираются сливки налицо состоящего венского общества, куда в Вене прибывающих дипломатов влекут магнитная сила временем освящённой привычки, и какое-то тёмное предание, будто деревья там нашёптывают политические тайны, а фонарные столбы, оглянувшись, не подслушивает ли наёмный предатель, передают содержание шифрованных депеш, где можно, коли умеешь выбрать время, насладиться зрением видом всех действительных и всех подложных венских знаменитостей обоего пола. Разве он не в силах удовлетворить любому требованию ума, сердца и от летнего зноя изнемогающего тела? Чего в нём недостаёт — тени ли, красоты ли, пищи ли для слуха и для духа? Всего вдоволь. Пред ротондой восседают там, окружённые толпой поклонников

красоты и всякого знатного имени, чванная княгиня Ш., и пышноплечая, чернобровая княгиня Ф.; не стесняясь столь аристократическим соседством, карими глазами манит полуувядшая прелестница Елиза Г., в дни страстной молодости не одного матушкина сына направившая на путь воинской доблести в Мексику, и в ряды папских зуавов. По жёлтому песку скользит удивительно маленькая ножка известного государственного мужа, остряка, любезника, и поэта, отца австрийского дуализма, и зиждителя игривой политики всемирного умиротворения. От столика к столику шныряют величаво-глядящие «снобсы» всех мастей и всех языков, утопая в счастье дышать одним воздухом и прислушиваться к тем же музыкальным звукам, которыми улаживают себя их поклонению предстоящие превосходительства, сиятельства и светлости, — в спокойном уголку поместившись, старые дипломаты многозначительным шёпотом передают друг другу свои впечатления; — а за проволочную решёткой, отделяющую «избранных» от всего остального бескрейцерного люда, в глубине сада, под сенью раскидистых каштанов, миловидные сирены неумолкаемо напевают сладкозвучный гимн любви и неги. Кажется бы и хорошо, а всё-таки желаешь чего-то другого. Все прелести Фольксгартена вас не удовлетворяют, неразгаданная внутренняя тоска раздрает вам душу, камень лежит на сердце. Нет, при таких условиях в городе оставаться нельзя, задохнёшься от пыли и от жара, пропадёшь от тоски.

А куда ехать?

За этим дело не станет. Коли сами не знаете, так следует обратиться с вопросом к любому доктору; он разом разрешит ваше сомнение. Наверное, вы чем-нибудь да страдаете: в наш многоболезненный век между людьми, судьбой не обречёнными тесать камень да утрамбовывать рельсовое полотно, нет совершенно здорового человека. Снаружи, или внутри, где-нибудь непременно проявляется у вас какое-либо болезненное ощущение: или желудок неисправно переваривает дневную пищу, или сверлит в голове, или тяжёлая скука и невыразимая тоска отравляют ваше бытие. Поэтому, не задумываясь, идите к доктору; он направит вас на путь спасения, указав, куда следует вам переместить ваше грешное тело для того, чтобы, не теряя дорогого времени на одно бесплодное созерцание красот загородной природы, вместе с тем подкрепит силы, потребные на зимний труд, когда общественное положение налагает на вас непременною обязанность в поте лица отрабатывать разного рода вечера, балы, рауты, визиты и обеды.

Консультация начинается. В Вене дело стоит от пяти до двадцати гульденов, смотря по врачебной славе, которою пользуется консультант; никто не мешает, однако, вам заплатить и дороже, коли очень опасаетесь за ваше драгоценное здоровье или желаете дать подобающее понятие о достатке, которым судьба вас наградила.

В старину доктор, прежде всего, приступал к освидетельствованию языка и пульса. Современная наука отодвинула эти два фактора на задний план; теперь сначала постукивают и выслушивают.

— Ложитесь, говорит вам вопрошаемая медицинская знаменитость, — расстегните жилет, — а коли считает вас достойным особенного внимания, то прибавляет ещё: — обнажите грудь.

И вот, пальцами постукивая по рёбрам и по желудку, прислушиваясь к глухому звуку, который вызывают его удары, он начинает изучать погрешности вашего организма. Вам чудится, будто везде одинаково звучит, ничуть не бывало, опытом изощрённому уху его слышно то, чего вы никогда не услышите. Затвердение в кишках, желудочный катар, сердце опустилось, сердце расширилось, лёгкие нетронуты, печень страдает, приговаривает он в полголоса, чаще и сильнее постукивая в одном месте. И с напряжённым вниманием, не без некоторого беспокойства, прислушиваетесь вы к его изречениям; ведь дело идёт не о чужом сердце и не о чужих лёгких, а о сердце и о лёгких, без коих лично вам обойтись нелегко; поэтому не удивительно, ежели вы сильно интересуетесь знать, в какой мере эти два фактора, да уже, кстати, и печень, с прочими принадлежностями, способны исполнять свою указную обязанность, и имеется ли надежда поправить изъязнец, постигший их на горе вашему существованию.

Наконец вам позволяется покинуть лежачее положение и ваш туалет привести в порядок. Консультант, несколько подумав, объявляет решительный приговор:

— Вы страдаете хроническим катаром желудка, впрочем, здоровы; извольте ехать в Мариенбад, Крейцбрунн, дальнейшее узнаете от местного доктора, или:

— Затвердение в печени; Карлсбад, Шпрудель; будьте осторожны, Карлсбадом шутить нельзя; прошу без карлсбадского доктора ни шагу; я специально отрекомендую вас знаменитому З. или П.; будьте так добры завтра заехать за письмом.

Специальные рекомендации, бывают случаи, отличаются изумительною меткостью диагноза.

Одна русская госпожа, получив рекомендательное письмо от какой-то европейской медицинской знаменитости к пресловутому доктору на каких-то водах, движимая женским любопытством, распечатала послание, надеясь узнать из него истину насчёт своего здоровья, которое её очень озабочивало. Содержание письма было коротко и ясно. «Дорогой сотоварищ, — писал князь науки, — посылаю к тебе жирную и пушистую гусыню: посбавь ей жиру и пооборви пуху, в утешение ей, тебе и мне. Тебе преданный», и т. д. Надеюсь, сказанная госпожа поняла, чем она может услужить медицине, не теряя даже времени на скучное водолечение.

Преемники Эскулапа особенно не жалеют тратить своё драгоценное время на молодых и миловидных страдалец, со времени воцарения обязательной консультации. Желал бы я узнать, как тут справляются «стыдливые поклонницы пророка». В старину, бывало, толпой отправлялись они к гикиму-гяуру, произносившему свои приговоры на Майдане, при общем стечении правоверных, доверчиво протягивали ему руку, из-под личного покрывала высовывали язык, и не дожидаясь решения, обращались вспять, в полном убеждении, что одним этим незатейливым обрядом обреталось исцеление от всех телесных недугов. А теперь? Нет. Харам, харам! Закон не позволяет!

Доктор, к которому я обратился за советом, не принадлежал к числу высших знаменитостей, поэтому и приёмы его были попроще, решения не так строго определительны. Познакомился я с ним в прошедшем году, когда, прибыв в Вену, на первых же порах занемог простудой от переменчивой погоды и от резкого ветра, составляющего одну из приятных особенностей венского климата.

— Вы пришли ко мне за советом, — сказал он, потряхнув волосами и усаживая меня против себя на мягком кресле, — поговоримте, поговоримте, знаю как отрадно каждому поговорить о том, что болит. В чём же дело?

Я рассказал всё, что чувствую.

— Ревматические боли, расстройство нервов, неправильное пищеварение — естественное последствие всего, что изволили пережить. В ваши года бывает и хуже. Полагаю, вы сами знаете, что радикальное излечение для вас невообразимо, и вы вправе искать только некоторого

облегчения, при известных диетных и климатических условиях. В городе действительно душно, пыльно и скучно. Поезжайте в Дорнбах.

— Зачем? Что я там стану делать?

— Зачем? Вместо пыли и известковых частиц, которыми наполнена городская атмосфера, глотать чистый воздух. Поверьте, это очень полезно, несравненно полезнее наших микстур и порошков.

— Одного чистого воздуха, кажется, для меня недостаточно. Вы знаете что печень и желудок у меня не в порядке, надо же, пользуясь летним временем, сделать что-нибудь им в угоду.

Доктор мой подумал.

— Кажется, вы сказывали мне, что лечились уже в Карлсбаде, и что Карлсбад всегда вам доставлял облегчение.

— Совершенная правда.

— Так ступайте в Карлсбад. От хорошего лучшего не ищите. Кто ваш доктор там?

— Обхожусь без доктора. Следую наставлениям, которыми наделили меня такие и такие-то доктора. Тут насчитал я ряд известных имен.

— Совершенно правы, не домогаться иных указаний; поступайте по принятому правилу, целее будете.

Был четвёртый час на исходе.

— Что вы это принарядились во фрак? — прощаясь, спросил меня доктор.

— От вас еду обедать в гостях.

— Как, и летом не перестают давать званые обеды? Вот что не совсем хорошо. Можно узнать, у кого обед?

— У каноника, прелата **.

— Это другое дело, ступайте без опасения. Прелатские обеды против гигиены никогда не грешат; к тому же прелат человек умный, не наведёт на вас скуки, вредной для пищеварения.

— Через несколько дней отправляюсь в Карлсбад. Спасибо за совет.

— А я желаю вам счастливого пути и возможного облегчения. Не забывайте только, что воду надо пить в меру, не более того, чем требует ваш желудок, который сам, без докторского указания, не замедлит отречься от вредного излишка, что необходимо бывает на воздухе, делать движение и более всего избегать раздражительных впечатлений. Всякого рода заботы и светскую суету покиньте в городе.

II.

Три дня спустя, не без толкотни и не без спора овладев местом, я сидел в жёлто-крашенном первоклассном вагоне курьерского поезда, имевшего обязанностью развозить живой товар из Вены, чрез Пассау, в Карлсбад, в Мюнхен, пожалуй, даже в Женеву, Париж и Лондон. Говорю товар, потому что едущий, с той минуты, как взял билет, обращается в безгласный тюк, по воле кондуктора перемещаемый из вагона в вагон, пока его не довезут до назначенного места. К тому же в Австрии железнодорожные дирекции обладают благим правом — во всём и со всеми распоряжаться по одному собственному мудрому усмотрению, не подлежащему ни контролю, ни апелляции. Дело дирекции — набивать вагоны как можно туже товаром да пассажирами и по рельсам пускать их вдаль, ни за что не отвечая; пассажирам же в виде высшей милости дозволяется платить, жаться в вагонах, кряхтеть и уповать на Господа Бога. Доехали благополучно — тем лучше. Случилось несчастье — воля Господня, дирекция тут не при чём, она непогрешима и ни за какие утраты не вознаграждает. Сами пассажиры виноваты, коли натискались в вагоны, которым Провидение предназначало разбиться вдребезги. Да и совершенно глупо невесть какому странствующему субъекту — птице перелётной требовать, чтобы местные власти обращали особенное внимание на его тёмные права на спокойствие и на целостность костей. Дорогая компания, зарабатывающая дивиденды дорог, — капиталист оседлый, от них государство обретает осязаемую пользу; а на что годен весь остальной грошевый люд, разве только на то, чтобы трудовую лептой питать казну, или ненасытную утробу Вертгеймовской кассы какой-либо промышленной компании или биржевого счастливица, с которого, сверх всего, можно ещё стянуть добрый, увесистый куш за перерождение его в бароны, коли он не имел удовольствия с баронским достоинством уже явиться на свет.

Да и славные люди они, эти риттеры и крюконосые бароны; как великолепно украсили они Вену, как богато обстроили улицы — просто второй Париж, дома высокие, подпирают облака, от лепных украшений в глазах пестрит, решётки червонным золотом горят. Куда ни глянешь, все эрцгерцогские дворцы да высококельможные палаццы: палаццо Шей, палаццо Кенигсвиртер, палаццо Тодеско, палаццо Зилберман, палаццо Гольдштейн. Скромно прислонился к своим гордым соседям дом графа Гоиоса. — Что? разве граф Гоиос также один из наших, einer von unsere

Leute? спросил однажды провинциал своего единоверца, называвшего ему подряд одних соплеменных домовладельцев. — Нет, он только втёрся в нашу среду! — Как после того их не холить, не лелеять и, низко преклоняясь, не благоговеть пред этими, силой акций да облигаций завоевавшими Вену биржевыми династиями? Ведь провозгласила же венская пресса, печатая некролог в Париже скончавшегося Джемса Ротшильда, что могущественная династия Ротшильдов была основана Ансельмом I в таком и таком-то году. После этого на три шага отступаю, и даю дорогу каждому длинному, лоснящемуся галицийскому кафтану, из уважения к родоначальнику будущей династии, который — чем судьба не шутит — быть может, прячется под его масляными полами. А зародыш денежного могущества, как известно, носит в своей груди каждый потомок Ревекки и Авраама.

Раздался третий звонок, паровоз свистнул, и поезд медленно стал выдвигаться из-под стеклянного навеса станции, постепенно прибавляя ходу. Тут только очнулся я от суеты, крику и толкотни, которыми сопровождалось рассаживание пассажиров, и успел на досуге разглядеть, с кем мне суждено было в продолжении полусуток дышать одним спёртым вагонным воздухом. К счастью моему, я попал в отделение «для не курящих». Сам я курильщик, но перенести удушья пяти-шести сигар, дымящихся в тесном вагоне, не в силах, на такой подвиг способна одна избранная немецкая натура. Против меня покоился, оттопырив большие красные руки, толстоголовый, лысый господин, для развлечения перебиравший пухлыми перстами, на которых светились дорогие кольца. Холщёвое пальто закрывало его широкие плечи; увесистая золотая цепь лежала на пёстром жилете — значит, мой ближайший сосед принадлежал к семье скоронаживающихся поставщиков одной из первых жизненных, или военных, потребностей: зерна, кож, рогатой скотины, дров, кирпичей и подобных тому статей. Посреди раскинулись увесистые госпожи широких размеров, видимо, состоящие с ним в близком родстве — их вид, их яркоцветный путевой туалет и их говор свидетельствовали в пользу этого предположения. Далее, у противоположного окна, одно место занимал чопорный сын Альбиона, углублённый в изучение назидательного содержания путевого указателя в красном переплёте, а против него гордо рисовался молодой поручик в мундире прусской гвардейской артиллерии, при сабле и с железным крестом на груди.

Несколько времени продолжалось глубокое молчание. Толстый господин тупо глядел на свои колесом ходившие персты; увесистые госпожи, блуждая глазами по углам вагона, будто ничего не заслуживает их внимания, между тем до тонкости изучали своих спутников; поручик был занят лацканами своего сюртука, которые то отстёгивал ради прохлады, то застёгивал, чтобы не лишиться вас удовольствия видеть привешенный к ним крест; Англичанин прилежно читал в указателе, а я смотрел из окна на мимо пробежавшие, кудрявым лесом покрытые, горы Винервальда и на красивые, садами и виллами окаймлённые деревни Вейдлингау, Пуркерсдорф и другие. В сотый раз проезжаю по этой дороге и всегда с новым удовольствием всматриваюсь в давно знакомые мне места, привлекающие меня не только красотой местоположения, но и множеством приятных, отчасти и грустных воспоминаний. Вейдлингау принадлежал честному, благородному, симпатичному графу М., — его нет более в живых; в Вейдлингау, в Пуркерсдорфе жилали летом лорд Б. и леди Б. — они навсегда удалились из сих мест, к крайнему огорчению всех имевших счастье короче знать душевные качества, которыми отличались эти достойные представители высшего круга английского общества.

Вагон качало во все стороны; длинная сабля прусского поручика прыгала по ногам против него сидевшего Англичанина. Не изменяя положения, в которое уселся с первого начала, молча и не отрывая глаз от книг, он одним движением руки, после каждого удара, просил её убрать подальше от своих ног. Поручик, с видом неудовольствия, укладывал саблю в сторону, находя, как кажется, неприличным удалить даже в вагон от своего бедра оружие, которым заработал себе широко на груди развешанный крест. Поражало его неприятным образом и то, что никто не приходил в умиление от чести в одном вагоне путешествовать с декорированным прусским воином, и не любопытствовал из собственных уст его узнать, в каком бою он заслужил такое отличие. Молчание, господствовавшее в вагоне, видимо, было ему не по сердцу. Наконец одна из налицо состоявших дам, обратившись к нему с вопросом, как понравилась ему Вена, освободила его из неприятного положения. Непрерывным током полилась его хвастливая речь. В полчаса мы узнали — кроме фамилии, однако, то, что он граф, что отец его генерал, что крестом награждён за Седан, что состоит при наследном принце, что возвращается из Италии, куда ездил по очень важному поручению, и, наконец, что в Вене

подвергся весьма чувствительной неприятности, внушившей ему подвое обращение к Австрии, к Вене и ко всему австрийскому.

Некий шальной Француз, бывший вольным стрелком в какой-то биргалле, покусился сорвать с него крест — факт, о котором газеты не умолчали — он же выхватил саблю и непременно изрубил бы своего противника, ежели бы присутствовавшие венские бюргеры его не остановили.

Эти же бюргеры арестовали Француза и отвели его в полицию, но рубить не позволили, объявив поручику, что в Австрии подобного рода расправа законом воспрещена и он несмотря на свой мундир настолько же обязан ему повиноваться, сколько и Француз, который ни в каком случае не уйдёт от наказания за нарушение общественного порядка и за посягательство его оскорбить.

— Но на что же похоже заслонить собой негодяя, имевшего дерзость коснуться до моего креста, когда я готов был разmozжить ему голову, и после того рассказывать мне сказки о законе и о каких-то равных правах. Докажу я этим венским бюргерам, какие мои права. Поверну я дело по-своему. Не по австрийским законам станут судить Француза, его обязаны выдать прусскому правительству, а у нас, клянусь честью, его расстреляют.

Госпожи, слушая рассказ поручика, только вздыхали да обливались крупным потом, не то от страха за участь бедного, шального Француза, не то от духоты, господствовавшей в вагоне.

Толстоголовый Немец, слушавший вытараща глаза, с выражением глубочайшего тупоумия, подобострастно поддакивал поручику.

Англичанин, после каждой кровожадной выходки рассказчика, вглядывался в него с видом крайнего недоумения, будто желая дознать, сам ли верит он в своё враньё или просто врёт ради эффекта, после чего опять углублялся в чтение книги, доставлявшей ему удовольствие знакомиться с достопримечательностями городов и местечек, мимо которых нас проносил быстролётный паровоз.

Несколько раз поручик во время своего повествования, не понимая почему, обращался ко мне с вопрошающим взглядом, на который я не отвечал ни словом, ни знаком одобрения или отрицания. Не в спор же мне было вступать с молодым, едва оперившимся птенцом. Молод, хвастлив, глупенек, подумал я про себя, поживёшь с моё и станешь иначе рассуждать, коли природой или воспитанием не обречён по гроб оставаться

дитём. И никакого внимания не заслуживала бы твоя болтовня, когда бы, к несчастью, в ней не слышался отголосок самонадеянного властолюбия, обуявшего целый народ, недавно ещё слывший образцом завидной умеренности. Куда девалась теперь эта умеренность? Она потонула в кровавых волнах неожиданно громких боевых успехов, поразивших ослеплением не только толпу, но и мыслителей, и немалое число дотоле столь рассудительных политиков.

Скромны были первоначальные желания всегда тяжёлых, угловатых, шероховатых, но во время оно ещё весьма непритязательных Германцев. Домогались они отмены Меттернихом и клеветом его, продажным Генцом, учреждённой над ними велемудрой полицейской опеки да соединения разрозненных обломков немецкой народности под сению одного знамени и одного общего закона. Ничто не могло быть скромнее и справедливее стремления к этой цели, обещавшей упрочить государственную безопасность и способствовать безвозбранному развитию народного благосостояния. Но политический склад покойного Германского Союза не допускал осуществления подобной мысли; личные интересы мелких обладателей народа и земли постоянно тому противились; не только говорить и писать, думать об объединении Германии было запрещено и ставилось наравне с государственною изменой. В тысяча восемьсот сорок восьмом году Немцы сделали было попытку путём революции водворить у себя желаемый порядок. За дело взялись они не с головы, а с хвоста: зверь обернулся и загрыз их. Попытка естественным образом не удалась; теориями вооружённые политические мечтатели и вместе с ними напрактованные революционеры, обратившие революцию в доходное для себя ремесло, как прах разлетелись пред организованною силой штыка и пушки. Обманщиков и обманутых подвели под одного знаменателя, оковали новыми стеснительными законами и погрузили Германию в прежнюю сладкую дремоту. Для наполнения свободного времени, чтоб отвлечь внимание от опасной игры в баррикады, Немцам, в некоторой степени, однако развязали язык и позволили под наблюдением полиции собираться и, сколько душа пожелает, петь, стрелять и кувыраться; но все забавы опостылили им; ежели они держали длинные речи, пели, стреляли и предавались прыганью, то это делалось только ради будущего блаженства; все помыслы их, все душевные желания сосредоточились в одной мечте: создать единую, большую, сильную

Германию; во сне и наяву им только и грезилось чёрно-красно-золотое знамя.

Тем временем бразды правления в одном немецком государстве, издавна поставившем военное честолюбие в основание своего строя, попали в руки человека, соединявшего в себе три завидных качества: проницательный ум, несокрушимую волю и полное отсутствие ум и волю стесняющих предрассудков. Разом понял он ту огромную пользу, которую положение его позволяло ему извлечь из немецкой народной идеи для честолюбивых видов своего правительства, для собственного властолюбия и для выгодной постановки сословной партии, к которой он принадлежал по происхождению. Государство располагало притом многочисленную, отлично организованную армией. Столько сильных пружин, кстати, в дело употреблённых, обещали несомненный успех; а наш государственный механик знал, как совладать с ними; умел терпеливо выжидать, морочить простаков, хитрецов запутывать в их собственные сети и, когда требовалось, безжалостно разить со всего плеча.

Внутреннее сопротивление его не пугало; два-три метких удара языком да штыком должны были опрокинуть ветхое здание разномысленного Союза, которого все связи давно уже были расшатаны общественным мнением. Рычагом служила идея национального объединения. Опасался он только одного соседнего иноязычного государства, которое имело положительный интерес, да и силу, пойти наперерез его замыслам; могущество этого строптивого соседа надо было сокрушить во что бы ни стало, и наверняка, не вдаваясь в рискованную игру нерассчитанных случайностей. Во главе оногo государства находился хитрец, второй уже десяток годов пред озадаченною Европой в лицах разыгрывавший пословицу — «на то щука в море, чтобы карась не дремал». Пригляделся немецкий политик к ловкому хитрецу и тотчас узнал в нём не зубастую щуку, а простого карася, по жабры засевшего в болоте обмана. Добыча не могла уйти от ловца. Удержался он, однако, от прямого налёта — показалось небезопасным, а пошёл на неё дальним, обходным, верно рассчитанным путём, чрез Дюппель, Алзен и Садовую. Заклятые противники его, не ведая, что творят, расчищали ему дорогу, битые враги обращались в покорные орудия, а обманутый, со всех сторон обойдённый карась сам полез на приманку.

Седан сокрушил на неправде основанную власть; целый ряд других неслыханных побед низвергнул самолюбивый, легкомысленный,

заблуждениями упитанный, но при всём том грозный ещё народ в бездну несчастья и унижения. Не жалея ни чужих, ни своих, великий деятель чрез пылающие развалины, чрез потоки крови и слёз, провёл своего государя к ступеням желанного императорского престола.

Германия едина, велика, сильна, победоносна; миллиарды приливают; знамя одно — только золотую полосу заменили белой; все немецкие головы прикрыты одного рисунка островерхим шишаком; много поручиков с железными крестами; несколько дипломатов и консулов без места; в Готском календаре прибыло полку, один граф да один князь.

Кажется, чего больше остаётся ещё желать? — идеал достигнут, надевай, Германия, ночной колпак и ложись отдыхать на лаврах.

Но будет ли так? Силы развернулись, честолюбие разыгралось, им нужна пища. Французы не забыты ещё в конец, могут на ноги подняться; да, кроме того, близёхонько, руку стоит протянуть, какие-то «интересные» национальности позволяют себе шевелиться, дерзая не признавать, безусловно, над собою немецкого господства.

Чем же должно кончиться? — Чем? ...

«Пассау, Пассау, ревизия ручного багажа!» — раздалось над моим ухом; замок щёлкнул, дверцы вагона растворились.

Вдали слышались громовые удары, сверкала молния, крупный дождь хлестал в открытые дверцы, в ночной тьме замирал острый свист остановившегося локомотива. Поручик с железным крестом чрез мои колени, не забыв, однако, ударить по ним железными ножнами своей сабли, ловко выпрыгнул. Увесистые господа собирали свои картонки, мешки, сумки да мешочки. Полусонный, не совсем ещё очнувшись, полез я из вагона.

III.

Из всех вагонов, полусонные, шатаясь на все стороны, высаживая дам и поправляя им за ступени цеплявшиеся юбки, толкая соседей в бока зонтиками и мешками, бородатые и безбородые, молодые и седоватые кавалеры, вместе со своими спутницами, поплелись вдоль скудно освещённого навеса к входу на станцию. В дверях, поставленных под надзор полдюжины представителей австрийского таможенного ведомства, наблюдавших здесь невесту за каким делом, теснота и давка. Каждый старается проложить себе силой дорогу сквозь плотную фалангу впереди

идуших, будто, опоздай он секундой, так его блюститель таможенного права прямо за воротник да и потянет к ответу за глупую неспешность. Дамы, которым безжалостно рвут и мнут оттопыренные платья, вспекивают; у кое-каких бороδοносцев вырывается недосказанное бранное слово. По длинному, почти не освещённому коридору проходят в пассажирские залы. В первой, заваленной уже ручным багажом всех величин и всевозможных видов, от простой корзины до щёгольского красного юфтенного чемоданчика, с блестящими бронзовыми наугольниками и патентованным замком, тускло горит один газовый огонёк. В полумраке, сгруппированные посемейно, или как случай свёл, сидят пассажиры, преимущественно из дальних стран, не благоденствующих под немецким скипетром, по причине полуночного времени не чувствующие поползновения на пития и на яства, которые в смежной, длинной, ярко освещённой зале хлопотливо разносят две плотные, краснолицые Баварки и хромоногий кельнер в засаленном длиннополом фраке. Он же кассир, *Zahlkellner*, личность, исключительно присущая в немецких гостиницах и при немецких буфетах. Кроме него никто не имеет право получать деньги от гостей. От этого скорая расплата делается невообразимо трудной операцией, постоянно сопровождаемой криком, спорами и бранью.

«Платить! платить!» — раздаётся со всех концов залы. Кельнер как угорелый мечется то в одну, то в другую сторону; кричат: «не хотите брать денег, так уеду не заплатив, ведь не прозевать же мне поезда из-за ваших крейцеров»; кто суёт деньги девушке в руки, а та не берёт. Забряцал звонок, раз, два, кондуктор громогласно возвещает направление отходящего поезда, пассажиры засуетились, забирают мешки, а кельнер продолжает бегать, глазами отыскивать незаплативших, кричать и махать руками. Иному пассажиру это и на руку, но другой ведь не расположен отяготить своей совести кружкой пива или недожаренным шницелем. К тому примите ещё в соображение равноценность монеты, перекладку австрийских на баварские крейцеры, талеров на гульдены, и вы составите себе понятие о суматохе, сопровождающей отбытие из ресторационной залы толпы пассажиров, из коих половина не в состоянии объясниться на немецком диалекте и расплачивается монетой со всех денежных рынков земного шара. На узловых станциях эта сцена повторяется в течении суток раз десять, потому что Немцы, не в укор будь им сказано, в дороге

страдают уму непостижимым голодом и едят и льют днём и ночью, не пропуская ни одного буфета, ни одной выставки пива и колбасок, где не имеется горячего.

И для нас наконец прозвонили давно желанный отъезд. Регенсбург, Швандорф, Нюрренберг, Эгер-Гоф, протяжно проголосил кондуктор, и вслед за его возгласом поднялась такая кутерьма, какой ещё не видывал, хотя на своём веку имел случай потолкаться по железнодорожным станциям всех европейских стран. Пока мы дремали в пассажирских залах, а счастливые владельцы немецких желудков, насколько требовала душа до ближайшего буфета, справлялись с душистыми соусами, с кофе и с кружками пенистого пива, осмотрели сундуки и чемоданы, что до меня не касалось, потому что, благодаря своему направлению из Австрии да в Австрию, мой сундучок спокойно отдыхал в запломбированном, баварским таможенным аргусам недоступном, вагоне. На ручном багаже, которого никто не думал повеять, при входе ещё в залу были положены меловые кресты, означавшие: всё, дескать, в порядке, контрабанды не имеется; поэтому для вступления на баварскую территорию законного препятствия не существовало, и пассажиры не замедлили воспользоваться этим правом. Разом вся толпа хлынула к выходу и в тесных дверях спёрлась — ни тпру, ни ну.

Попало в тиски и моё грешное тело. В двух шагах от меня, гляжу, дама, не из числа одарённых роскошными формами, напрасно извивая свою гибкую талию, старается высвободить её из угловатых объятий двух или трёх чемоданчиков с оковкой.

Взгляды наши встретились.

— Графиня?

Она вскинула глаза к небесам. — Как? и вы здесь? Как хорошо в Т., рай земной! Много поклонов вам от...

Сзади дружно подтолкнули, и мы вылетели из дверей, она налево, я направо, и навеки скрылась графиня от моих на мгновение очарованных взоров.

За дверьми другая картина: бесконечный ряд вагонов с растворёнными дверцами под напором всеобщего приступа. Передовые захватили внутреннее пространство и защищают его против натиска новых пришлецов. Все выгоды позиции на стороне обороняющихся, атакующие, однако, не унывают и храбро лезут на приступ.

Нет места! все места заняты! голоса из глубины вагонов; груди, не привыкшие уступать, юбки, не допускающие мысли прикосновения заслоняют зевающие бреши, не сомкнутые ещё рукой всемогущего кондуктора.

Им отвечают градом мешков, зонтиков и туго свёрнутых, ремнём перетянутых пледов.

— Первого класса? — второго класса? есть ещё место, вот здесь, скорее извольте садиться, — кричат кондукторы, один в голове, другой в хвосте поезда.

На поезде в семьдесят осей их всего двое; немецкие железнодорожные дирекции умеют соблюдать экономию.

Пассажиры, спотыкаясь, роняя кладь, бегут на голос кондуктора, и опять их отгоняют, — решительно нет места, битком набито, не на колени же вас сажать. В вагонах и около них так темно, что и разглядеть нельзя, правду ли говорят или лгут для того, чтобы на ночь иметь более простору.

Пред станцией, ходил высокий толстый Баварец, станционный повелитель. К нему бросились пассажиры, не находившие, где поместиться, все почти первоклассные, с требованием, чтобы для них прицепили лишний вагон.

Баварец и слушать не хотел. — Восемь человек в купе, и с этим баста! — заревел он на них густым басом.

— А когда восемь уже сидят, девятого не поместить. Куда же прикажите деваться, когда кондукторы не в состоянии указать место; мы вправе требовать, чтобы прибавили вагон.

— Восемь человек в купе, и с этим баста! — проревел он вторично. Баварец чувствовал всю важность свою как повелитель и как победитель.

Раздался третий звонок, а с полдюжины пассажиров, в том числе и я, всё ещё бегали от вагона к вагону, повсюду отвергнутые более счастливыми путешественниками. Неожиданно кондуктор схватил меня под локти и втолкнул в купе, на котором красовалась цифра I, швырнув кому-то под ноги мой дорожный мешок.

Красивая молодая женщина, с распущенною косой, перегородила мне дорогу, без того баррикадованную парой длинных ног в светло-серых панталонах; но в то же мгновение дверцы захлопнулись, замок щёлкнул и,

повинуясь трубному гласу, поезд быстро покатился, постукивая по переводным рельсам.

Остались мы в нашем первоначальном положении: я, прислонившись спиной к дверцам, молодая дама с отталкивающими руками, плотно предо мной.

— Понимаю, — сказал я по-французски, — как вам должно быть неприятно появление среди ночи незнакомого гостя, но если вы, милостивая государыня, не чувствуете себя в силах превозмочь ваше негодование, то, прошу, сердитесь не на меня, а на кондуктора. Он, он один всему причиной, а его воля стоит выше наших желаний.

По мере того как развивалась моя речь, дама отступала, а светло-серые ноги отодвигались в сторону.

Я уселся в уголку; свободными оставались ещё три места.

Дама успокоилась, оглядела меня, и потом, поправляя платье, улеглась в противоположном конце. Выразительное, ещё очень свежее лицо не было лишено приятности, длинная, тёмно-русая коса составляла непосредственную принадлежность её головки, на мгновение из-под платья выглянувшая ножка была мала. Насупротив неё, свернувшись клубком, лежала прехорошенькая девочка лет четырнадцати, и одним глазком, из-под беленькой, через голову перекинутой ручки, плутовато глядела на меня, новоприбывшего спутника. Кажется, её очень забавляла сцена моего объяснения с маменькой — она готова была громко рассмеяться, но как благовоспитанное дитя удержалась, потянулась только, зевнула, и поворотилась лицом к спинке дивана.

Длинные ноги в светло-серых панталонах принадлежали высокому усачу. Против него сидел лысый господин также с порядочными усами. Говорили они промеж себя по-французски, но несмотря на слабый свет лампы, прикрытой синим шёлковым экраном, разглядел и расслышал я, что судьба меня свела с Венгерцами, от которых нечего опасаться невежливости. Высокий усач счёл даже приличным сказать мне несколько слов в оправдание негостеприимной встречи со стороны своей супруги, и помог мне уложить в более безопасное место мой, под ноги ему брошенный, мешок.

В вагоне случай сводить с разного рода людьми, и не с каждым из них одинаково приятно разделять принуждённо-близкое соседство. Французская поговорка: «*tous les gens comme il faut sont de la même nation*»,

т. е. «одного склада», справедлива только в половину. Во-первых, надо с точностью определить, кого следует разуметь под названием «homme comme il faut» — человека ли одетого по требованию господствующей моды, подёрнутого наружным лоском условных светских приёмов, по имени принадлежащего к верхним слоям людского общества, или только истинно просвещённого и благовоспитанного человека. Да и самая благовоспитанность обнаруживается не одинаково приятным образом в отношении к незнакомцу, отзываясь более или менее основными свойствами народного характера.

В вагоне, встречаясь с чужим человеком на короткие часы, для того чтобы потом расстаться навсегда, нечего углубляться в исследование его скрытых умственных и сердечных качеств; важно знать, будет ли он для вас удобным или беспокойным, приятным или неприятным соседом на то время которое, по высшей воле кондуктора, вы принуждены с ним разделять, помещаясь в самом тесно-рассчитанном пространстве. Много странствуя по странам, изборождённым рельсовыми путями, я привык тотчас же узнавать, с кем сижу, и к какому сословию, к какой народности принадлежат мои спутники, прежде, чем ещё они заговорили. Не только одни физиономии, но и покрой платья, телодвижения, усаживание, раскладка багажа, должны быть приняты в число пояснительных пунктов.

Французы, итальянцы с первого начала вежливы и даже внимательны к незнакомцу. Русские и Венгерцы в этом отношении подходят к ним ближе других. Англичанин холоден, формалист, бережёт своё собственное, да и не затрагивает чужого достоинства, и когда в незнакомце открыл собрата по воспитанию и по светскому положению, в таком случае сбрасывает свою ледяную броню и становится спутником, какого лучше нечего желать. Нельзя то же самое сказать о Немце. В вагоне, на станции, на улице, в кофейной, Немец-работник и Немец представитель учёности и интеллигенции одинаково бесцеремонно будут вам пускать в лицо дым от своих вонючих сигар, вас толкать в бока, и не извиняясь, ходить по вашим ногам. Никогда он не посторонится, даже для женщины, никогда не даст дорогу, а тяжёлым шагом идёт напролом, считая несовместным с достоинством немецкого человека кому-либо уступить место.

Высокородный Немец, пожалуй, и не станет толкаться, но зато незнакомца он всегда готов в землю затоптать своим высокомерием. В его понятиях особа немецкого рода, записанная в Готском календаре, стоит на

такой высоте, до которой никакая иноязычная знаменитость не может достигнуть во веки веков. Не советую незнакомому человеку обратиться к нему с вопросом или с просьбой — он не удостоит его ни малейшего внимания или ответить в высшей степени необязательно, в недобрый час даже очень грубо.

Существуют исключения, не каждый, однако, имеет счастье с ними встречаться.

Но хуже всего наделён тот, кому соседом на долю выпал Еврей-миллионер, особенно из молодых, заклеимённым баронским титулом. Пропитанный тщеславием от ног до головы, он крикливо и суетливо начальничает во всю дорогу с целью внушить вам высокое понятие о своём богатстве, о своей «noblesse», и под конец делается положительно неприятным, ежели вы не расположены обратить на него ваше особенное внимание.

Берегитесь также молдавана, хотя бы он признавал себя князем или графом — титулы в Молдавии ни почём — закурит он вас не хуже любого немецкого доктора, и, сверх того, полчаса после первого знакомства величая «*mon ami*», свою хвастливой и неумолкаемой болтовнёй доведёт до совершенного отчаяния.

Трикраты блажен, кому за кстати из кошелька урвавшийся гульден или звонкий талер далось счастье успокоить свою душу в пустом купе, где он один и сам себе господин.

Считающий за собой лишние гульденy и талеры всегда вправе надеяться на благосклонность непреклонного рока — у которого, как видно, сердце не камень.

Хорошенькая девочка спала детски спокойным сном; маменька прилагала весьма похвальное старание уснуть, но, видимо, не успевала в этом благом деле. Толчки и забота о дочери ей мешали; по временам она взглядывала на неё и протягивала руку, чтобы поправить платьице или пледом прикрыть ножки у спящей. Высокий усач в полголоса, по-французски, рассказывал низенькому, лысому усачу свои похождения, где бы вы думали? — в Крыму, в то время, когда судьба нас карала за наши прошедшие грехи.

Что за наказание! От Вены до Пассау в моих ушах только и звенели Шпихерн, Гравелотта да Седан; а от Пассау до ... глотай для русского вкуса далеко не лакомые пряники: Альму, Керчь, Инкерман, Камыш. Разве

кроме вечной резни у людей нет другого интереса, ни у себя дома, ни в дороге. Да пожалейте же меня, господин Венгерец с длинными усами, ведь я еду в Карлсбад, Шпруделем размывать затвердение в печени, а для этого жизнеспасительного дела необходимо полное душевное спокойствие.

Кто бы, однако, мог быть усатый незнакомец, стал я придумывать, закрыв глаза и откинув голову назад. Генерал Т... — засветилось в моей памяти — и я не ошибся.

Много рассказывал он про холод, про голод, про дурные дороги, про неурядицу будто бы царившую в нашей земле, но когда он коснулся до моего свояка, русского солдата, как рублём подарил меня умница Т.... От сердца камень отвалило. Готов был протянуть руку и сказать: правы, правы, господин многоопытный генерал, да удержался — пускай, мол, продолжает говорить — послушаю; а то с первого начала хотелось было уши заткнуть.

— При таких трудных обстоятельствах было нам ещё возиться с русской обороной. Видали ли вы русское войско в деле? Нет? Так прошу не судить о нём опрометчиво. Храбры все — французы, немцы и итальянцы, но русской стойкости они не имеют. Севастополь нам это ясно доказал. Работали одиннадцать месяцев, да с какими огромными средствами, да сколько народу уложили, да сколько денег издержали, а что заработали — груду развалин.

— Зачем не пошли вы дальше?

— Куда и для чего? Чтобы завоевать пустыню — русские всё бы сожгли и уничтожили — и при первой неудаче, в ней навеки сложить свои собственные кости. Слуга покорный — «le jeu ne vaut pas la chandelle!» Скажу вам, граф (Ага! Низенький усач был венгерский граф). Пускай газетишки трубят про бессилие России и натравливают на неё глупый народ; пускай, рассчитывая на богатую жатву для своего жалкого честолюбия, близорукие сабленосцы хвастливо вызывают её на бой — это нашему делу в подспорье, а нам самим всегда надо помнить, что Россию можно обойти только хитростью, а силой её не доймёшь. Можно её по окраинам слегка пощипать, при счастье даже армию разбить раз, другой, но принудить её покориться воле победителя — дело невозможное; разве двинуть против неё всю остальную Европу, да чем станешь кормиться в бесконечных русских степях, не траву же есть; варвары и ту, пожалуй, выжгут. Теперь обратимся к другой стороне того же самого вопроса,

к нашим домочадцам и ближайшим соседям, не перестающим ожидать своего искупления от России, хотя, в сущности, Россия до сей поры не подавала им никакой положительной надежды. Ведь мы принуждены церемониться с нашими милыми Славянами, и терпеливо выносить их строптивое сопротивление только потому, что под боком Россия, а перед нею должны преклоняться, потому что Славяне за плечами. Прежде всего надо вогнать добрый клин в это огромное славянское дерево, раздвоить его навеки, тогда и с Россией можно будет потягаться, сделать попытку отодвинуть её подальше от себя. Дело сбыточное. Почаще только нащёпывай в России, кому следует, что все Славяне до костей проникнуты духом неповиновения, а Славян пугай русским кнутом, да на деле докажи им, что не от России, а совершенно от другой силы зависит признать за ними право самобытного существования или стереть их с лица земли. Не со вчерашнего дня люди ума дальновидного занялись этим вопросом, потому что они хорошо понимают, какой пирог для них испечётся, когда двадцати двум миллионам этих коршунов удастся свить себе тёплое гнёздышко под крылом у русского орла. Зубы поломаешь, Желудок не переварит такого полновесного блюда. Я знаю... успех верен... Железная воля... изворотливый ум нашего...

Последних слов я не дослышал; глубокий, спокойный сон сомкнул мои веки. Отрадно мне было сознавать, что Русские в силах за себя постоять. С другой стороны, хотя с грустью в сердце, но не краснея за своих, мог я мысленно перенестись к тому времени, о котором вспоминал Венгерец. Много, много погрешили мы тогда пред Богом, пред царём и пред людьми, но помину не будь нашим старым грехам; кровью своею искупили их севастопольские бойцы за русскую честь. Поэтому станем их помнить и почитать, и научим наших детей и внуков жить и умирать с тою же безусловною преданностью царю и отечеству.

Яркий луч утреннего солнца меня разбудил. В вагоне я оказался один; оба усаха и красавицы мои исчезли, где? — было мне неизвестно; а полагаю, в Швандорфе, откуда пути расходятся в разные стороны. Поезд подходил к Эгеру.

На Эгерской железнодорожной станции повторилось то же самое, что несколько раз в сутки повторяется на всех станциях. После получасового ожидания нас усадили в вагоны, с иголочки, и медленно повезли по недавно открытому, вполне не достроенному пути. Местами страшно было

глядеть, с какою смелостью мы скользили по высоким дамбам над земляными обвалами, размытыми весенним разливом реки Эгер.

Но пора бросить якорь — берег показался; из-за высокой лесистой горы проглянул длинный ряд красивых домиков, в которых год из году, меняясь почти еженедельно, гнездятся бесчисленные стаи перелётных посетителей карлсбадских целебных источников.

Поспешно собрав свои дорожные пожитки, я вёл в коляску и со станции поехал в город отыскивать квартиру; дело нелёгкое, когда посреди лета Карлсбад переполнен иностранцами, налетевшими со всех концов земного шара, с севера, с юга, от берегов Нила и Волги, Невы и Ганга, из-за Океана, да из таких мест, о которых ведомо лишь ученышему географу, а мне, малочке, и слышать не приводилось. Высокие дома унижены жильцами с низу до верху, и надо родиться под счастливою звездой, чтобы, заранее не обеспечив себя, можно было отыскать хотя бы самое неприхотливое помещение. Люди богатые задолго до своего прибытия списываются с домохозяевами или извещают их по телеграфу о времени приезда, чем и налагают на себя приятную обязанность платить за квартиру вдвое дороже обыкновенной цены, за которую привыкли её сдавать; мне же скудная начинка моего скромного кошелька не позволяла подобным образом роскошничать. Поэтому, сложив вещи в гостинице «Кёниг фон Ганновер» — карлсбадская трактирная жизнь мне не по сердцу, — не мешкая отправился я в поте лица добывать для себя скромный уголок в первом частном доме. Долго бродил я по городскому низовью, напрасно отыскивая глазами ярлычка на дверях с надписью «отдаются комнаты», потом стал подыматься в гору, на Шлосберг, и только очень высоко, выше чего одни лесные великаны манили под свою густую тень, на улице, помеченной «Гиршеншпрунг-штрассе», мне удалось найти чистенькую комнатку, в которой и устроил своё пребывание.

В Карлсбаде соблюдается обычай рано вставать; в начале шестого чающие движения воды начинают уже появляться у разных источников. Первые лучи утреннего солнца, озарившие на восток обращённые окна моей комнатки, меня разбудили; я выглянул на свет Божий и ахнул от удовольствия. Чудный вид представился моим обрадованным глазам: глубоко внизу городок, покрытый прозрачною пеленой раннего тумана, предо мной на полускате ярко освещённые верхи из тёмного гранита узорчато высеченной католической церкви, около которой светло-

окрашенные дома и домики толпились, как весёлые внучата около задумчиво на них глядящего маститого деда; далее волнистые очерки гор, покрытых густым зелёным лесом — всё свежо, ясно, покойно и отрадно.

Через полчаса, послушный докторскому велению, я спускался уже по каменным ступенькам от моей улицы к Шлосбрунну. Длинная нить водопиц, словно гуси, мерно шагавших один за другим, с фарфоровыми и стеклянными кружками в руках или через плечо на жёлтых ремнях, спускаясь по мощённому склону от парка к ротонде, на дне которой маленькие девочки в алых рубашках Гарибальди разливали воду источника. В двух шагах от схода к колодцу стоял блюститель порядка, давно знакомая мне полицейская фигура; в длинном чёрном сюртуке и военной шапке, облокотившись на толстую камышовую трость. Пасмурным, испытующим оком оглядывал он мимопроходивших, дабы уважение они возымели к вручённой ему власти в порядке и в должном повиновении держать это разноязычное стадо. На площадке, примыкавшей к ротонде и от которой многоступенная каменная лестница, осенённая двумя рядами стриженных лип, спускалась к Марктплацу, по-прежнему стоял небольшой столик, принадлежавший торговке козьим молоком.

Мы были старинные знакомые с этою благодетельной женщиной, и в прежние времена избавлявшею меня от скучной гусиной прогулки за водой. Слегка коснулся я до её плеча; она обернулась, узнала меня, приветливо кивнула головой, взяла мой стакан и тотчас, помимо очередующихся господ, нырнула в глубину ротонды. При первом движении её блюститель равноправия повернул голову в противную сторону и, прищурясь, стал глядеть в гору, будто какое-то необычайное обстоятельство потребовало от него обратить туда зоркость его полицейского глаза. Поворотил он снова свой лик к источнику, когда кружка, налитая целительной влагой, находилась уже в моих руках; значит, никакого нарушения порядка у него на глазах не происходило, он ничего запрещённого не видал и поэтому правым оставался пред своею совестью, пред законом и пред начальством. Благодаря такому простому маневру несколько посетителей Шлосбрунна, не скупившихся на магарыч, в два или три гульдена, молодой торговке, всегда выпивали назначенное число кружек в определённые промежутки, не подвергаясь по целым часам приятному хождению в ногу сотоварищи.

Возле Марктбрунна и возле Мюлбрунна, куда я сходил поглядеть, нет ли между приезжими знакомых лиц, публика кишмя кипела так неугомонно пёстро, что ничего не разберёшь, и в толпе, пока глаз не приглядится, и самого короткого приятеля не признаешь. Не в одну, а уже в две шеренги, рядами, медленно передвигая ноги, шли здесь леди и джентльмены к водопою; им наперерез подвигалась другая непрерывная цепь страдалцев и страдалиц, направлявшихся к медицинскому оракулу, с приличной важностью восседавшему несколько в стороне от источника.

Подходящие поочерёдно наклонялись к преемнику Эскулапа, шептали ему что-то на ухо и с подобострастным видом ждали приговора.

«Прибавьте кружку Шпруделя», «убавьте полкружки Мюлбрунна», «сами виноваты, не послушались», «прошу, поменьше вина», «Гислибелю стакан-другой всегда полезно», — долетало до слуха публики.

Возле Шпруделя ещё несравненно больше народу, толпа гуще, только тут рядами не ходят. Колодезь круглый, со всех сторон можно подойти, и пять или шесть юных девиц безостановочно черпают дымящийся кипяток и разливают его в подставленные кружки под звуки музыки, начинающей каждое утро играть около Шпруделя, после чего музыканты переходят к Мюлбрунну, чтоб усладить слух и тамошней публики.

Пока я обходил источники, часы на католической церкви прозвонили восемь раз; со старинной башни на Шлосберге повторился звон, и публика волной хлынула вдоль Алте-Визе. Настало время завтрака. По дороге дамы и кавалеры заходили на Визе в разные пекарни запастись печеньем для кофея и продолжали путь, отягощённые белыми, голубыми и розовыми бумажными мешочками. В пекарнях горы сухарей и сдобных булочек всевозможных видов и названий мгновенно исчезали под руками голодной публики, спешившей наполнить свои желудки кое-чем посытнее и повкуснее тёплой водицы, которою они наливались с раннего утра. Люди постарше, потяжелее и вообще все неохотники до дальних прогулок, отделялись от ярых ходоков и, рассудительно выбирая места, усаживались под тенью деревьев за столики, выставленные пред «Золотою короной» и пред «Слоном». Затем раздавалось:

— Берта! Фанни! Мари! мой кофе! порцию шоколаду! пару яиц.

И Берта, Фанни и Мари летели накрывать красными салфетками столики, на которых вслед за тем с быстротой мысли являлся потребованный завтрак. Отлично вышколены и удивительно быстроноги

карлсбадские кофейные фрейлины, грешно было бы жаловаться на них; в запуски с воробьями, подбирающими крохи, порхают они от столика к столику — никого не забудут, никого не обнесут.

Пошёл я к *Слону* почтение отдать фрау фон Мюллер — мадамой не смей назвать в Австрии последнюю мелочную торговку, и та в обиду примет — сказаться ей о своём приезде и для почину выпить у неё мою первую чашку кофею. Такой в Карлбаде соблюдается порядок, где фрау фон Мюллер занимает самое видное положение и вправе требовать от прибывающих соблюдения должного уважения к своей почётной особе. Много лет тому назад, когда я в первый раз заглянул в Карлсбад, проживал в нём знакомый мне русский человек, исполнявший высокую придворную должность, значит, вполне знакомый с правилами высшего этикета.

— В Карлбаде вы в первый раз? — спросил он меня. -Да. — А знакомы с фрау фон Мюллер?

— Нет.

— Так прошу позволения сегодня же ей вас представить. С Карлсбадом начинают знакомиться со *Слона*, а госпожа Мюллер его счастливая обладательница. Кофей отличный, не ошибаясь можно сказать, лучший в целом Карлбаде, общество избранное, а она сама почтеннейшая дама, пользующаяся милостивым вниманием высоких и высочайших особ. Кроме того, она знает всех и знает всё, что делается в здешнем месте; за всякою справкой можете к ней обратиться, и всегда получите самое точное указание.

Насчёт неукоризненного состава общества, питающего привычку предаваться отдыху под защитой могучего *Золотого Слона* и услаждать свою утробу произведениями кофейной лаборатории госпожи фон Мюллер я сам имел случай убедиться как нельзя вернее: всё Русские, Англичане да богатые Американцы; а немецкого языка на половину «*Excellenzen*», потом «*Durchlaucht*», «*Erlaucht*», да иудейского племени отборнейшие биржевые магнаты. Немецкий люд помельче, из учёных или из коммерции, да Поляки без графского диплома, напуганные перекрёстным огнём громких титулов, которым оборонялся подступ к *Слону*, предпочитали селиться под сенью *Золотой Короны*, где беседа велась гораздо бесцеремоннее, а под шумок можно было перекинуть расписные листки направо, налево, разумеется, для одного невиннейшего препровождения времени.

Представил меня тогда знакомец мой госпоже фон Мюллер, а после того фрейлин Берте, просил их из уважения к нему не отказать мне в благосклонном покровительстве, и с той поры я имел счастье пользоваться неизменным расположением этих двух дам. Первое посещение моё, когда приезжал в Карлсбад, принадлежало фрау фон Мюллер; и никто кроме фрейлин Берты не подносил мне мой завтрак у *Слона*.

Отыскав хозяйку и раскланявшись с нею, на первый раз я поместился под маленьким стеклянным навесом, прикрывающим узенький вход в кофейню и в верхние, приезжими занятые этажи высокого дома «Zum Elephanten». Тут стоит только два крошечных столика и возле каждого по два стула, для гостей, пользующихся особенным вниманием со стороны фрау фон Мюллер. Не каждому и не во всякое время удаётся обратить в свою пользу эти бережёные места, устроенные, собственно, для успокоения в ненастную погоду самой хозяйки с домочадцами.

Полная, как сдобный хлебец, белая и свыше всякого чаяния добронравная Берта приятно мне улыбнулась и нежным голосом опросила:

— Прямого кофеем или наоборот? — *einen rechten oder umgekehrt?* — Другой бы и не понял, а я знал, чего от меня хотят; не новичка же вопрошали.

— Прямого, — ответил я, и чрез две минуты Берта принесла мне вместе с сухарями от «добротного пастыря» прямую порцию, то есть кофеем больше, а сливок поменьше: кофеем меньше, сливок больше значит порция наизворот.

Прилежно принялся я завтракать, не теряя дорогого времени на оглядывание проходящих; прежде всего мне надо было подкрепить телесные силы, а потом уже искать пищи для любопытства.

Порешив с сухарями, поглощавшими всё моё внимание, пока в желудке пустотой отзывалось, я зажёл папироску — привычка нехорошая, сам понимаю, но, сознаюсь в своей слабости, не в силах отстать — и принялся внимательно рассматривать через улицу предо мной сидевших поклонников *Слона*. В передних рядах чопорно справлялись с своим завтраком неподдельные, из-за пролива прибывшие леди и сёры — легко было узнать по туалету дам и по покрою бакенбард, ниспадавших на откидные воротнички у кавалеров; потом общество важно восседавших стариков, по ногам укутанных серыми пледами и толстощёких, надменно

осанистых господ — прусские превосходительные и сиятельные; несколько весьма не дурных, щеголевато одетых, крикливо разговаривавших дам, в сообществе живого, красивого прелата, которого с виду, ежели бы не чёрная одежда да золотая цепь с крестом, скорее можно было принять за гусарского полковника — и не спрашивай — представительницы венского или грацкого общества; далее, в глубине улицы, прислонясь к рядам временных лавок, прехорошенькая девушка, возле неё толстая старуха и несколько молодых людей — Русские, готов биться об заклад; да и язык, на котором они говорили довольно громко, ошибки не допускал.

А это кто же сидит на самом краю, за одним столом с большим бледнолицым стариком, обвязанным красной шалью? — лицо слишком знакомое — ба, да это он! я вскочил с своего места и прямо направился к крайнему столику.

— Узнаёшь меня? — спросил я у господина, в котором сам издалека узнал старого, давно невиданного школьника товарища.

— По голосу узнаю, а по лицу сразу бы не узнал — сильно, брат, переменился, поседел. — И приятель, крепко пожимая руку, с участием вглядывался в мою, розами и лилиями действительно не украшенную, физиономию — Когда приехал? где остановился?

— Приехал со вчерашним утренним поездом, и вчера же поселился, Гиршеншпрунг-штрассе, у «Валтер-Скотта».

— Место мне знакомое; ежедневно прохожу по твоей улице; прекрасный вид с горы. А я живу Шлосберг, в «Городе Штетине», значит, мы с тобою близкие соседи, и ты, надеюсь, часто будешь заходить. Впрочем, здесь и без посещений беспрестанно встречаешься; было бы только желание встречаться.

— Так с сегоднего же утра уладим наши встречи — где ты обедаешь? — у стола сойдёмся; а теперь прощай, время отдохнуть, Визе пустеет и от Постгофа начали уже возвращаться, пора домой.

— Позже станем вместе обедать, а теперь не могу, слово дал, обедаю с дамами.

— С твоим семейством?

— Коли бы с женой, так что бы помешало тебе усестись с нами за один стол, а то с чужими; недавно познакомился. Знаешь ты Марию Николаевну, графиню К.? — Нет — Так, пожалуй, сегодня попрошу позволения завтра тебя представить.

— Спасибо за предложение, а позволю от него отказаться. Я приехал сюда с намерением отдохнуть и полечиться — сам видишь, насколько мне это необходимо, а не заводить новые знакомства, от которых не всегда бывает легко и приятно, а когда они пришлись по душе, так после жалко расставаться. А теперь прощай.

— Погоди, погоди, вместе пойдём, дорога одна.

Приятель мой протянул руку старику, повязанному красною шалью, поднялся, и мы вместе поплелись на гору.

— С кем сидел ты? — спросил я дорогой.

— С кем? право, не знаю.

— Как же ты это якшаешься, на водах, публично, с совершенно незнакомыми тебе людьми?

— А почему же нет? — Русский, Сибиряк, старик, больной, говорить умно; случайно дня два тому назад возле сидели, услышал, как он разговаривал с другими Русскими — любопытно стало, да и подсел к его столу, с тех пор знакомы. Очень занимательные вещи рассказывает.

— Да, наконец, что же он такое? надеюсь, знаешь, как его зовут.

— Что он такое, тебе сказал, да и сам ты видел; а как его зовут и какой его характер — was für einen Character er besitzt — того не знаю и знать не хочу, с досадой ответил мой приятель. — Мало того, что видит пред собой человека неглупого и приличного; нет, подавай ещё звучную кличку да характер, который бы он пред людьми мог носить на показ, иначе знаться с ним неприлично, стыдно руку подать. Друг мой, с бесперчаточными разбойниками возился я в моей жизни, и не к худшему сорту людей, которым правила светского приличия не раз принуждали меня протягивать руку, принадлежали эти молодцы. Хотя короче моего живёшь за границей, а, кажется, в понятиях своих совершенно онемечился!

— Вижу, брат, жизнь тебя не изменила, остался, чем был на школьной скамье, когда однажды вздумал нам проповедовать, будто хороший сапожник, предохраняющий ноги покупателей от натира, несравненно полезнее и уважения достойнее плохого генерала, ведущего несчастных людей на бесполезную бойню. Помню, как тебя подслушали; и за твою проповедь трое суток продержали в карцере, на хлебе да на воде. Видно, мало тогда просидел.

Приятель добродушно улыбнулся.

— А, по-твоему, следовало бы совершенно перемениться, откинуть все те утешительные убеждения, которыми так сладостно питалась наша молодость и ногами и руками уцепиться за сухую практику жизни. Впрочем, прошу успокоиться, и я не гляжу более на вещи сквозь радужную призму детских иллюзий; но житейский опыт, иссушивший цвет моих лучших надежд, не успел, однако, до основания подточить корень моей живой веры в действительное существование добра между людьми. Не всех же людей амбиция и животная жадность доводят до полного отречения от всякого чувства любви и сострадания к бедному, страждущему человечеству. Окинь свет беспристрастным взглядом, и посреди векового мусора, которым он завален, как много отыщешь недурного, именно там, где менее всего полагаешь найти. Дознавай только истинную суть всякого дела и по скорлупе опрометчиво не суди о ядре, которое под ней скрывается. Однако пора нам разойтись по своим берлогам; и Карлсбад имеет такие условные обычаи, которые не дозволяется нарушать без помехи для себя и для других. — За сим он своротил направо, а я пошёл прямо на гору.

А любопытствуете вы знать неизменную программу дневных занятий в Карлсбаде? — имею честь представить её на ваше благоусмотрение:

От шести, а кому угодно и раньше, до восьми часов утра наливание желудка многоцелебной горячею водой и безостановочное хождение.

От восьми до десяти завтрак; где кому заблагорассудится, — у себя дома, на Алте-Визе, или в Гартен-салоне, в Постгофе, в Фреиндшафтс-зале, не исключая Швейцер-гауза в других мелких кофейных заведений.

От десяти до часу отдохновение у себя дома и, кому приказано, приём ванны.

От часу до трёх обед, отнюдь не позже, иначе рискуешь остаться без еды или, что ещё хуже, кормиться объедками.

От двенадцати до двух рачителям светского приличия допускается ходить на поклонение к представительницам прекрасного пола, с полной уверенностью не быть принятыми; потому что редкая красавица в это время не занята своим обеденным туалетом.

После трёх промежуточное восседание у *Слона* и у *Золотой Короны* с сигарой в зубах, чашечкой чёрного кофея на столе и большущую газетой пред глазами.

В четыре общее перемещение всего приезжего населения из города в Постгоф, Сан-Суси и в другие вышепоименованные увеселительные места, где в тот день назначено музыке играть.

В шесть часов шествие обратно в город и полная свобода до десяти, когда каждый обязан одною ногой уже касаться своей постели. Возвращающиеся на квартиру позже десяти причисляются к категории жильцов сомнительной нравственности, попадают на замечание у полиции и впускаются в дом лишь после продолжительного ожидания на улице. Двери у карлсбадских домов не снабжены звонками, для того, чтоб у квартирантов отнять всякое поползновение возвращаться после законного времени. Домохозяева жалуются, будто одни Русские беспрестанно нарушают этот основной закон всякого порядка и нравственного благоприличия.

Экстренные удовольствия:

Дальние загородные прогулки пешком, в одноколках, запряжённых ослиами, и в колясках, преимущественно в Гаммер, глядеть, как в формы тискают фарфоровую глину, и к Гансу-Гейлинген, удивляться ряду невысоких скал, будто бы имеющих какое-то сходство с человеческими фигурами, обращёнными в камень за их грехи; театр; заказные обеды в Постгофе и в Виндзоре, и танцевальные собрания.

Исключение из общего законоположения:

Право, прибыв в Карлсбад, начать и кончить своё телесное пользование и душевное наслаждение, считая от восьми часов утра до восьми часов вечера, не покидая из виду *Слона*.

Контингент обращающих в свою пользу это многопохвальное право преимущественно комплектуется из созерцательных сынов скверной Германии, которым вид *Слона* заменяет все прелести Карлсбад окружающей горной и лесной природы.

Не вижу повода мешать их удовольствию; оно выражает только всю невинную простоту их вкуса и их привычек.

IV.

Несколько дней сряду встречался я с моим приятелем только мельком, у источников, на Алте-Визе или в Постгофе, куда он часто направлял свою прогулку, всегда почти с незнакомыми мне дамами. Однажды перегнал я его возле *Сан-Суси*, неудачной ресторации, за год тому назад

построенной на пути к Постгофу. И в этот раз провожал он высокого роста, несколько полную даму, лет за шестьдесят, отличавшуюся замечательно приятными чертами, не взирая на её лета и на страдания, мешавшие ей пользоваться прогулкой иначе как сидя в креслах на колёсах, которые сзади подталкивал карлсбадский комиссионер. По другую сторону кресел шёл высокий мужчина, уже в летах, с чёрными усиками, в котором нетрудно было узнать бывшего, а может, и настоящего военного. Приятель на мгновение меня остановил.

— Сам поймёшь, — проговорил он, — что неловко было бы, покинув даму, пойти мне за тобой; жаль, однако, что видимся так мало; сегодня раньше вернусь из Постгофа: коли не имеешь в виду лучшего дела, приходи к *Слону* около шести часов, посидим вместе да поговорим.

В Постгофе играла музыка. Несмотря на пятнадцать гульденов, которые я уже заплатил за право входа в сад, в том числе пять на музыку, с меня взяли ещё тридцать крейцеров за право пить кофей и гислибель под звуки оркестра, управлявшегося Лабицким. Все столы и столики, расставленные под раскидистыми деревьями, составляющими существенную красоту Постгофского сада, на галерее и в большом концертном зале были заняты многочисленными обществами гостей. Старые и молодые, красивые и некрасивые дамы, бородатые и безбородые, осанистые и больно невзрачные кавалеры столпились тут в одну сплошную массу, сквозь которую новоприбывающие с трудом продирались к иногда проглядывавшим свободным местам. Говорили на всех европейских наречиях, между которыми, однако, чаще всего пробивались звучные ноты русского языка. Девушки, прислуживающие в Постгофе, как на подбор одна милевиднее другой, в лёгких белых и розовых платьицах, с быстротой ветра переносились от одного стола к другому, из залы в сад, из сада обратно в дом, где жарилось, перемалывалось, кипятилось и разливалось всё потребное для приготовления напитка, на который публика не переставала возобновлять свои повелительные требования.

С трудом добился я столика, за который уселся в стороне, одинокий, на свободе наблюдать за происходившим вокруг меня. Во множестве гостей издаലെка показывались и некоторые мои знакомые, но так как я их не отыскивал, то и они будто меня не замечали; каждый был слишком занят тем кружком, в который уже попал или в который домогался попасть, покоряясь влечению сердца, себялюбивого расчёта или щепетильного

самолюбия. При большом стечении публики, когда мне позволено уединиться, люблю следить за движением толпы, угадывать, к какой народности, к какому сословию принадлежат мелькающие предо мной живые куклы, какие пружины заставляют их двигаться в ту или в другую сторону, и потом, если можно, поверять мои догадки. Эта забава, наравне со всякою другою забавой, помогает мне убивать время, с которым для нас иногда бывает так трудно справиться, не предаваясь раздирающей скуке.

Прикатились кресла с дамой, которую провожал мой приятель, и остановились возле пустого стола пред кофейным домом. Вслед за ними проехало мимо меня другое кресло и бросило якорь у того же стола. Сидела в нём хорошенькая, быстроглазая брюнетка, лет двадцати, не более, страдавшая, как я после узнал, болью в ноге, не позволявшею ей ходить. Провожали её молодой человек в матросской шляпе — супруг, граф Б*, кто-то мне повестил, и австрийский уланский офицер в своём не благообразно короткополом чекмене, на котором позади, под перехватом, светились возле золотой бахромы две крошечные пуговицы, обозначавшие, что он, по праву восьми предыдущих высокородных поколений без малейшей примеси мещанской крови, обретается в звании камергера двора его величества. Через четверть часа третьи перекатные кресла, в которых в полулежачем положении покоилась внимание всего Карлсбада привлекавшая красавица польского имени и австрийско-немецкого происхождения, также причалили к сказанному столу. Следовали за ними уже не один и не два, а целый хвост по последней моде одетых поклонников различных возрастов, начиная от волос с сильною проседью до гладкого, розового личика, на котором едва начинал пробиваться первый пушок возмужалости. Пока я занялся подробным изучением кружка, сомкнувшегося около замечательного треклесья, недалеко за моими плечами успели поместиться несколько новоприбывших слушателей музыки. Слова два, громко сказанных по-русски, заставили меня повернуться назад, и я увидел господ, нет, я и не заметил их, а всё моё внимание невольно сосредоточилось на одной женской головке, возвышавшейся над гибким станом, прелести которого даже нынешняя уродливая мода не в силах была исказить. Долго поглядывал я то направо, то налево, сравнивая двух красавиц, соседством которых меня наградила щедрая судьба, и кончил тем, что переменил положение своего стула,

чтобы ни на мгновение не терять из виду слепопришедшей. Своё родное как-то ближе к сердцу.

Пожилая дама в чёрном платье оставила сад до окончания музыки. Приятель мой, уходя за нею, на несколько минут своротил в сторону, подошёл к большому столу, около которого помещалось довольно многочисленное общество, раскланялся с некоторыми дамами, сказал слова два и потом поспешил догнать свою даму. Верный моему призыванию точного наблюдателя, не упустил я из виду и этого, кажись, весьма маловажного обстоятельства. Захотелось мне угадать, к кому сворачивал мой приятель. Сколько позволялось издали разглядеть, по лицам, по невychурному вкусу тёмных дамских туалетов — Немки любят яркие цвета, — по приёмам, должно было полагать: Русские, лучшего круга московского или петербургского общества. Помня, однако, приглашение товарища моего, в свою очередь я поднялся и по кратчайшему пути, мимо русской церкви, прежде его дошёл до *Слона*.

Не успел я выбрать и занять выгодное место на краю, в первом ряду столиков, чтобы ближе видеть проходящих, как с другой стороны, от Саксонского зала, подкатились кресла с чёрною дамой. Высадили её у входа в дом к *Слону*, и вслед за тем приятель отыскал меня глазами и уселся на скамье возле меня. Берта расставила пред нами кофейные приборы, и я не теряя времени приступил к расспросам, которые давно заготовил в своём уме.

— Во-первых, чтобы после не забыть, прошу мне поведать, что за дама, которую ты провожал до Постгофа и которую теперь подвезли к *Слону*, да кто ещё с вами шёл. На службе всю молодость я провёл во глубине России, потом жил в деревне, а теперь уже много годов скитаюсь за границей, по докторскому велению проживая то тут, то там, пользуясь то здешними, то иными водами: поэтому мало кого знаю из лиц, принадлежащих к московскому, а ещё менее к петербургскому обществу.

— Дама, о которой спрашиваешь, известная наша красавица прошедшего времени; имя её, полагаю, доносилось встарь и до твоего слуха; теперь зовут её княгиней N; что она сильно страдающая женщина — видишь сам; а я от себя могу ещё прибавить: женщина ангельской доброты. Заметил ты какая у неё добродушная улыбка? есть признаки, редко обманывающие насчёт душевных качеств.

— А господин, который возле шёл?

— Брат её, генерал, бывший Севастополец — и не из трусливых.

— К кому ты подходил в саду, на обратном пути?

— К столу, около которого находилось в сборе чисто-русское общество, без всякой иностранной примеси, поклониться княгине N.

— А ты с нею коротко знаком? говорят, она неприступно горда, своенравна, хотя умеет быть увлекательно любезна, когда ей придётся по нраву.

— Знаком не коротко, а насколько нужно, чтобы знать её светские качества. Может, она и горда с теми, кто вызывает её гордость и потворствует ей из какого-либо расчёта. Она так умна, что тотчас это поймёт. Я на неё жаловаться не смею, потому что на себе никогда не испытывал приписываемых ей не совсем приятных свойств. Напротив того, её приветливость и её тонкий такт всегда производили на меня самое приятное впечатление. Люблю сына её, хороший человек, и дельно понимает вещи.

— Говорят, в молодости он страшно повесничал.

— Говорят, это справедливо; но я познакомился с ним, когда он уже остепенился. Впрочем, по-моему, лучше начать повесой, а кончить дельным и благородным человеком, чем начать с притворного благонравия и потом, в зрелые годы, перейти к отвратительному ханжеству. И между нашими товарищами, помнишь ли, не один шалун в последствии стал человеком, а сколько благонравных позже впали в совершенное ничтожество или поддались самому грязному соблазну. Что молодость шалит и дурачится, в порядке вещей: не с кантовскою же философией в голове на свет родятся дети.

Публика тем временем возвращалась с музыки и непрерывною цепью, то гуще, то реже, проходила по Алте-Визе, почти задевая наши столики лапами и юбками. Около нашего столика поместился ещё знакомый моего товарища, полурусский господин из остзейских уроженцев, человек порядочный во всех отношениях, сверх того, знавший все хотя бы несколько замечательные личности между приезжими, особенно немецкого происхождения. Кого из проходящих не знали ни я, ни мой товарищ, того наверное он в состоянии был нам назвать.

Проплыла дама в лучших летах, неопровержимо солидного здоровья, и с нею хорошенькая девушка с распущенными по плечам волнистыми светло-русскими волосами, в белом платье, на котором позади горел ярко-

алый бант огромной величины. Обе они бросились нам в глаза, дочь своим цветущим видом; маменька роскошною полнотою форм. Приятель мой не умел их назвать; Остзеец помог: госпожа X, из Граца, с дочерью; недавно приехали; из богатого дома; весь день можно видеть на Визе.

— По Визе, — заметил приятель, — все принуждены проходить по несколько раз в течение дня, а беспрестанно гуляют по ней только те дамы, которые приехали не лечиться, а себя казать, и по три раза в день меняют туалет. Приятное занятие, но дурной расчёт. Скоро приглядятся и до цели своей, пожалуй, не догуляют. Помнится, года три сряду приезжала сюда из нашей родной стороны некая госпожа: две дочечки, просто загляденье, разодетые, расфранчённые, в курточках, облитых золотом — видно за версту. В первый год все останавливались полюбоваться красивыми детьми, на второй, встречая, оглядывались на девочек, а на третий и смотреть на них перестали. Жениха не добыли и приезжать перестали. Вот эти переряжаться по три раза и гулять по Визе не станут, — прибавил он, указывая на двух проходивших дам, видимо мать с дочерью. Высокая девушка была одета весьма просто, в дикого цвете фуляровое платье без цветных бантов. Когда они поравнялись с нами, приятель, да и Остзеец, встали и поклонились.

Дама постарше прошла мимо, не заметив, что ей кланялись; сделав уже шага два, девушка обернулась и ответила лёгким наклоном головы.

— Кто такие? — спросил я; несколько раз случалось встречать на горе; почти всегда в тех же платьях, как сегодня.

— Довольно богаты чтобы не иметь нужды хвастать пред людьми числом перемен, которые возят за собой; — княгиня Z с дочерью.

— Какая гордая, и головой не кивнула на ваши поклоны.

— Ошибаешься, мой друг; вернее будет, ежели скажешь, как плохо она видит. Слишком она умна, слишком благовоспитанна и слишком добродушна для того, чтобы не ответить заведомо не только на наш, да и на чей бы то ни было поклон. Видел, дочь тотчас поправила невольную ошибку матери. Прекрасно воспитана и, сказывают, предобрая девушка.

Согласен, что в этот раз ошибся; а ведь случается, однако, что дамы высшего общества позволяют себе не обращать должного внимания на вежливости, которые им делают некоротко знакомые. Неприятно, да и обидно, коли поклонись, и не ответят из неуважения.

— Знаешь, что бы я сделал в таком случае!

— А что?

— Заглянул бы в чашку, которая стоит предо мной — свернулись сливки? — нет! — значит, беда не велика.

— Завидую твоей философии!

— Не философия, мой друг, а просто опытная оценка светской суеты.

Шёл видный господин с проседью на густых бакенбардах. Приятель мой привстал, намереваясь подойти, но проходящий предупредил его, подошёл к столу, очень вежливо поздоровался и пошёл дальше, переступая с некоторым трудом.

— Кто это?

— Ужели не узнал? непременно видел его когда-нибудь, только не в гражданском платье. Одним словом: это один из тех, про которых много говорят, которых часто бранят зря и которые несравненно лучше молвы, которую распускают на их счёт.

— А ты с ним коротко знаком?

— Нет, я нередко встречался с ним по службе и всегда оставался доволен его внимательностью. Умён, способен; никому зла не делает, хотя бы мог, и со всеми вежлив; а тем, что ему хорошо живётся на свете, разве он что-нибудь у вас отнимает. Хаять человека за это одно или ниже ему кланяться, значит, в одинаковой мере ронять своё достоинство.

Появилась целая гурьба в голубые, жёлтые, тёмно-красные платья, полосатые бурнусы и яркие шали наряженных барынь, кавалеров, будто выпрыгнувших из выставочной картинки мод у ближайшего портного. Трещали они языками, ровно стада встревоженных гусей. Один из молодцов чернобородых полый своего модного пальто едва не смёл чашки с нашего стола и забыл извиниться.

— Нечего спрашивать кто и откуда; пахнет биржей и еврейским духом, — сказал товарищ, провожая их насмешливым взглядом. — Предоставляю вам, господа, судить о приятностях общества, в котором эти рыцари кредита захватили первенство; к несчастью, они расплозились по лицу всей земли, и нигде не укроешься от их нахального вторжения.

Затем показались два господина, один повыше и попрямее, другой пониже и покруглее. Говорили они очень громко: старше... несправедливость... производство...

— Русские, кто они?

— Разве не расслышал: производство, несправедливость, — два генерала, гвардейский и армейский.

— А дальше?

— Разве тебе этого мало?

— Значит, так себе, из плохеньких.

— Плохих не знаю. И они, коли дойдут до дела, пожалуй, лицом в грязь не ударят. Не надо только человека заставлять на флейте играть, потому что горазд на цимбалах.

— Карлсбад, — обратился я к моему приятелю, — имеет свойство сильно раздражать нервы у всех вкушающих целебность его источников, а на тебя, кажись, производит совершенно противоположное действие. Встарь, сколько помню, ты не прочь был порядочно отделать того или другого, а нынче от тебя ни одной едкости не услышал. Намедни не мог довольно похвалиться своим Сибиряком, повязанным красною шалью, а сегодня что княгиня, что генерал, то и золотое яблочко да алый цветок; будто, с какой стороны ни гляди, и родимого пятнышка не усмотришь.

— Дело не в том, что без пятнышка — и на солнце пятна бывают, а дело в том, что в продолжение жизни столько чёрного насмотрелся, что теперь, где вижу больше свету, тени даже замечать не хочу. В моих глазах ни Сибиряк, ни княгиня такая-то, ни генерал такой-то не мешают друг другу иметь свои хорошие стороны, да и то, что первый из них принадлежит к многочисленной семье разночинцев, а прочие особы сановные, отнюдь не мешает каждому воздавать должное. *A tout seigneur tout honneur*. Чтобы вполне оправдать справедливость моего воззрения, прошу приглянуться к подходящему теперь господину. Ничего особенного не замечаешь? — спросил приятель.

— Ничего, кажется, что бы стоило заметить? Всё прилично в нём, холодно и важно. Длинное пальто застёгнуто до шеи, шагает мирно, голову держит высоко, рассеянным взглядом чего-то ищет на воздухе; а может, надписи на домах читает, хочет знакомого навестить.

— А теперь?

— Поравнявшись с теми двумя столами, за которыми сидят прусские господа, он быстро к ним повернулся; сладкая улыбка заиграла на лице, шляпа на два дюйма отделилась от головы. От столов ему кивают.

— К этому прибавлю с моей стороны, что ровно четыре года тому назад он делал совершенно противное: проходя мимо тех столов, рассеянно

глядел в даль, а поравнявшись со мной — давно имею привычку занимать его место — приятно улыбаясь, посылал мне поклоны. И теперь не угадываешь?

— Признаюсь, ничего не понимаю.

— Вижу, надо пособить твоей недогадливости. Могу тебе сказать, кто он, потому что знаю его. Это опытный дипломат, к сожалению, только представитель одного из владений, отживающих свой век. Погребальная церемония расписана уже по пунктам.

— В списке приезжих не заметил министра такой державы.

— И не отыщешь, потому что он не прописал своего «характера», проживая здесь инкогнито. Надо же побережь спокойствие европейского политического мира, который легко бы мог встревожиться вестью о неожиданном приезде его в Карлсбад, где уже собраны другие дипломатические знаменитости, которых имена ты, наверное, не пропустил без внимания. В настоящую минуту он очень озабочен зародившимися в его голове чрезвычайно важными вопросами этикета, подходящего ему соблюдать во время своего «инкогнито»; дело идёт о визитах, о месте и о поклонах. Пока не сладил с этой умственной работой, мой представитель предпочитает пить воду у себя, обедать дома, отыскивать уединённые прогулки и, завидя знакомого, особенно не равного «характеру», рассеянно глядеть по сторонам, дабы не наткнуться на казус, могущий нанести ущерб его представительному достоинству, хотя оно уже на самом отходе. Заметил, как ловко проламинировал он мимо нас? А что касается до поклона прусским господам, так это не в пример другим. Кто им теперь не кланяется!

— Простоват он, что ли?

— Помилуй Бог, какой ты вздорь говоришь! между дипломатами простоватых нет, да и быть не может; какие же то были бы дипломаты. Напротив того, названный господин принадлежит к числу самых тонких и самых деятельных органов своего министерства, глазами ловить слова налёту; воробей мимо не пролетит, чтобы не знал, куда и зачем; что час, то у него телеграмма, что день, то депеша. А депеши его, говорят, просто на удивление: читай как угодно, с начала, с конца — смысл всё один. Сам сознайся, на это потребен талант не вседневный.

— Удивительно! можем ли мы, однако, похвалиться такими же способными субъектами.

— Надеюсь! не совершенные же мы глупцы; потягаемся ещё с кем угодно! Темнеет, однако, и становится свежо, пора

домой; ламповщик хлопочет уже около второго из трёх фонарей, осуждённых освещать Алте-Визе; предоставим любознательным испытателям природы, при тусклом огне их, на свободе делать свои наблюдения над бытом ночных бабочек, тайком залетающих и в здешнее, одной тьме посвящённое место.

Несколько дней спустя мы встретились у источника. Приятель также принялся пить Шлосбрунн, потому что у нижних источников подступ совершенно загородили. Выпив последний стакан, он позвал меня вместе идти завтракать в Постгофе, чему способствовали ясное утро и благотворная теплота, о которой так долго напрасно вздыхали карлсбадские посетители.

— Там ждут нас, прибавил он.

— Кто, дамы? — спросил я испугавшись.

— Нет, один или двое Русских, Москвичи, прекрасные люди; останешься доволен, когда с ними познакомлю.

Пошли мы горой, по моей улице. В лесу, недалеко от извилистого спуска к нижней дороге, пролегавшей по берегу речки Тепелы, встретилась нам одинокая, очень молодая дама, в сереньком бурнусе. Приятель поклонился, она протянула ему свою маленькую ручку. Из-под синей вуали проглядывало самое милое, самое симпатичное женское личико, какое мне когда-либо удалось видеть.

— Совершенно одни, — сказал он, — где же, княгиня, ваш обыкновенный провожатель в горах?

— К сожалению, лишилась его; третьего дня уехал. Впрочем, я привыкла гулять и одна; в здешнем месте ничего не рискуешь.

— Позвольте мне предложить себя в спутники на вашу первую будущую прогулку.

— Рада буду, — и молодая дама повернулась на дорожку, поднимавшуюся выше в гору. Когда она удалилась на несколько шагов, я не удержался засыпать вопросами моего приятеля: кто она, откуда, почему её нигде не удаётся видеть.

— Кто она? — вдова, княгиня **, почему до сей поры тебе не удавалось её встретить? потому что она не любит часто показываться в модных местах, а поутру и вечером гуляет по горам, чаще всего совершенно одна.

В Карлсбаде нет посетителя, который бы в такой мере исходил окрестные горы и леса; она может служить в них самым верным проводником.

— Какое привлекательное создание!

— Не женщина, а жемчужина, — прибавил приятель.

— Ты ею совершенно очарован.

— Как и каждый, молодой или старик, кому удалось пробыть с нею хотя бы не более получаса, разве у него вместо головы на плечах сидит деревянный болван, а наместо сердца чёрствый сухарь.

В Постгофе просидели мы часа полтора под деревьями, занимаясь прилежным истреблением вкусных произведений карлсбадской швейцарской пекарни, распивая кофей, который нам подносила высокая, белокурая, Юноной глядящая, фрейлин Матильда, и рассуждая о том и о сём, что попадалось на ум и на глаза. Приятелю можно было сказать непритворное спасибо за людей, с которыми он меня познакомил: во всех отношениях симпатичного, добросердечного Ш, и широкой руки заводчика *, человека делового и дельного.

На обратном пути встретилось нам общество русских дам, провожаемых молодым человеком, обращавшим на себя невольное внимание, именно чем — нельзя было сказать с первого раза. Походка и манеры обнаруживали русского военного, из категории хорошо воспитанных. Приятель поздоровался с ним мимоходом.

— Право, совестно, до такой степени я раззнакомился теперь с русским обществом, — сказал я, обратившись к приятелю; — опять принуждён спросить, кто такой.

— Не удивительно, что его не знаешь, молодой человек, выступивший на сцену когда мы её уже покинули; я сам познакомился с ним только в здешнем месте, да и то очень недавно. Человек он имеющий пред собою блистательную будущность, да, кажется, и стоит того.

— Почему так?

— Во-первых, потому, что молод, нас с тобою переживёт, а во-вторых, ещё потому, что попал в отличную колею.

— Но почему же ты полагаешь, что он стоит того, прошу объяснить, когда сам сказываешь, что едва познакомился с ним?

— По-настоящему только раз имел случай долее с ним поговорить, но в один этот раз услышал от него несколько отрывистых замечаний, на которых позволяю себе основывать моё заключение о нём.

— Разве по нескольким словам можно сделать верное заключение о чувствах и об умственном направлении человека?

— Иногда гораздо вернее, чем из длинных речей. Длинные речи готовятся умом или памятью и нередко выражают только чужие заученные мысли; а слово, невольно вырвавшееся из сердца или из головы, разом обнаруживает человека. Случилось мне однажды, говоря об австрийских делах, указать на опасность, угрожающую империи от себялюбивой борьбы венгро-немецкой партии против справедливых требований славянских народностей, Русинов, Чехов, Сербов и Хорватов. «Да разве эти дрянные народы, у которых нет даже порядочного дворянства, подобного тому, какое видим в Вене и в Пеште, входят в расчёт», — отозвался некий благовоспитанный молодой человек. Более не требовалось для того, чтоб определить точным образом состояние его мозга и направление данного ему воспитания. Другой раз госпожа высокого немецкого происхождения принялась укорять меня в опасном либерализме, кажется, по поводу того, что встретила раз с моим доктором, рука об руку, не будучи, однако, в силах пояснить, что собственно разумела под словом «либерализм». В объяснении моем, что несколько не считаю опасным своего «либерализма», удерживая его в границах должного уважения к правам всех и каждого, начиная от главы государства до последнего нищего, я был прерван со стороны близь сидевшего высокородного «юнкера» вопросом: «Позвольте узнать, какие же права имеет нищий?» Не удержался я ответить: положительно знаю за ним одно, Богом ему дарованное право, дышать общим для всех воздухом и греться на том же солнце, которое светит для вас и для меня; полагаю, из этого проистекают ещё и некоторые другие, незначительные права. Не вправе ли я был тут же про себя подумать: любезнейший, в корпусные тебя произвести могут, пожаловать в церемониймейстеры, даже в министры, но никогда не сделают из тебя не только государственного, но и просто сносного человека. Вот теория, на основании которой позволяю себе иногда по двум словам судить о целом человеке.

Часто после того собирались мы по утрам в Постгофе; кружок наш с каждым днём связывался теснее. Отрадно для того, кто принуждён жить на чужбине, сойтись с людьми, которые не только говорят на родном языке, но чувствуют и думают, как его с детства приучали думать и чувствовать. В России снежно, в России холодно, за границей теплее;

устарелые кости просят тепла, а сердце тянет назад, в холодную сторонущу, где живут те, с кем вырос и с кем в продолжение многих годов пополам делил всё, что людям посылает переменчивая судьба. К чужому, красивому месту скоро привыкаешь, до того, бывает, что трудно оторваться; но не скоро свыкнешься с людьми. Примеры сближения, основанного на обоюдной симпатии, встречаются очень редко; чаще всего случайный интерес создаёт непрочную связь; миновал этот интерес, и от пришлеца из чужой стороны отворотятся, будто никогда его не знавали. Ничего другого мы не вправе требовать от своих заграничных друзей: чужой чужому всегда остаётся чужим.

V.

Много о чём успели мы переговорить в течение коротких часов, которые нам дозволено было вместе проводить под тенью прекрасных деревьев, привлекающих в Постгоф, наравне с хорошим кофеем, всю заезжую публику. Понято, что преимущественно нас занимали русские дела: земство, судебные учреждения, наши железные дороги, пароходство по Волге, наконец, живой вопрос касательно общей воинской повинности. Приятель мой, горячий защитник гражданских и военных реформ последнего времени, нисколько не сомневался в удачном решении этого вопроса и не соглашался только с некоторыми подробностями проекта, в то время опубликованного в русских газетах. Но и в этом случае он не высказал решительного мнения, отозвавшись незнанием обстоятельств, установившихся в России с того времени, как её покинул. Вообще он более слушал, чем говорил, беспрестанно повторяя, как счастлив, что наконец сошёлся с русскими, не страдающими хроническим недугом безотчётно удивляться всему чужому, безусловно порицать своё и рисовать наше положение такими чёрными красками, от которых нервного человека тотчас может поразить ударом. Издавна, со школьной скамьи можно сказать, я был знаком с его раздражительным, неровным характером, проявлявшемся в своём настоящем виде только в особенно важных случаях. Знал я также, что на него находят полосы непреодолимо упрямой молчаливости, заставлявшей не знавших его полагать, будто ничего на свете его не занимает, а между тем в глубине души у него кипело. Надо было в таком случае коснуться только до одной живой струнки, и он вдруг встрепенётся, заговорит и уже никак не в силах остановиться, не

высказавшись до конца. Поэтому не мешал я ему отмалчиваться сколько душе угодно, ожидая случая, который и выдался в Постгофе совершенно напоследях.

Утро было холодное, небо покрыто облаками; привычка собираться в Постгофе побудила нас, однако, несмотря на угрозу погоды, помимо *Слона* отправиться в дальнюю прогулку. В Постгофе, опасаясь дождя, мы поместились не в саду, а в задней комнатке кофейного дома, в углу, за круглым столом, издавна поступившим в бесспорное владение посетителей из Русских. Самая комнатка, коротко знакомая многим соотечественникам нашим, редко навещалась Немцами, предпочитавшими в дурную погоду располагаться в соседней, более просторной и роскошнее убранной комнате, в которой обыкновенно давались заказные обеды. Едва мы успели приняться за завтрак, поданный нам величественною Матильдой, как на дворе хлынул проливной дождь. Сад мигом опустел, концертная зала наполнилась народом; да и в соседней комнате слышались громкие голоса, топот сапог и шурканье столов и стульев. В это время вошёл к нам, весь мокрый, Остзеец, вместе с другим чопорным господином, которого отрекомендовал: господин N, министерства ***, из ***, вследствие чего мы не замедлили пригласить их к вашему столу. Нетрудно в новопривывшем было узнать то, что у нас называют петербургским Немцем. Выражался он по-русски довольно правильно, но в произношении просачивался у него лёгкий нерусский оттенок.

Присутствие незнакомого лица отозвалось на разговоре. Вяло поговорив о погоде, о источниках и о докторях да повторив ежеутреннюю жалобу кто на свой желудок, кто на кружение в голове, а кто на тяжесть в ногах, перешли к газетным известиям.

— По последним сведениям, — сказал N, — Немецкий император положительно едет в Гаштейн, где должно состояться свидание с ним императора Франца-Иосифа. Фон Бейст всеми мерами старается устроить между ними искреннее сближение.

— Поздравляю с искренностью чувств, особенно с австрийской стороны, — подхватил я, — желал бы невидимкой заглянуть под рёбра, когда станут обниматься.

— Речь идёт не о сердечных чувствах, а об обоюдном интересе, — сказал приятель. — В умной политике нужда и расчёт повелевают, а чувства смиренно повинуются.

— Чтобы в таком случае слегка не задели наших интересов.

— Непосредственно — нисколько, на то есть важные причины; косвенно — без всякого сомнения. Полагаю, однако, что ухищрения фон Бейста не скоро отзовутся на наших плечах, разве случится что-нибудь особенное, чего никто не в силах предугадать. Любопытно знать, кто будет провожать австрийского императора на свидание; некоторые из приближённых к его особе мне знакомы, да знаю и некоторую любовь, которую они питают к господам Пруссакам.

— Позвольте мне в этом случае удовлетворить ваше любопытство, — с важностью возразил петербургский уроженец и, медленно называя, насчитал целый ряд громких имён из среды австрийского придворного круга. Взглянув пристально на моего приятеля, он тут же прибавил: — Кажется, не в первый раз имею честь... однако где бишь?... только не в обществе, в котором постоянно бываю, в таком случае память не изменила бы... да, да, теперь припоминаю... в русской церкви, по случаю молебствия... в мундире тогда изволили быть, поэтому сразу не признал.

— Не ошибись! Некоторое время прожил в Вене, мало в обществе, больше на открытом воздухе, что не мешало мне, однако, знать кое-кого из поименованных вами господ. Поэтому сомневаюсь, чтобы граф N, который имени прусского слышать не может, охотно согласился быть свидетелем предполагаемого свидания. Наверное отпросился под благовидным предлогом.

— Позвольте мне знать вернее; непременно будет находиться в свите, ещё раз беру смелость повторить. Проездом чрез Ишль виделся со многими коротко знакомыми мне лицами из высшего круга; они хорошо знать должны, и от меня не скрыли бы. Пользуюсь, не из хвастовства будь сказано, их лестною доверенностью. Да-с, в разных европейских столицах перебивал, а подобного венскому обществу нигде не встречал. Настоящая, коренная аристократия, проникнутая чувством своего достоинства; нам бы недурно было взять пример; да удастся ли? — Тут окинул он сидевших около стола вопрошающим взглядом. — Ежели позволено откровенно правду сказать, ведь у нас не существует самостоятельной аристократии, как должно сознающей свои аристократические обязанности. Готовы знаться с кем ни попало, женятся Бог весть на ком, по сердцу, говорят, даже смешно; какое тут сердце, когда дело идёт о сбережении чистоты родословной. И в Англии теперь аристократия не то, что была в старину;

много плебейской крови прибыло. В Австрии же совсем не то: не угодно ли представить восемь поколений без укора, иначе во дворец ни-ни, хоть звёзды с неба хватал, хоть саму Австрию спасать помогал. Вот, например, Одоннель нож отвёл, а как женился на барышне без имени, так не угодно ли к себе в деревню, на покой; а ещё граф. В бароны, правду сказать, много денежных тузов попроизводили; но в нашем кругу их никогда не встречал.

— Однако в добрый час ни князя, ни герцоги не брезгают у них пообедать, поплясать да деньжонок подзанять.

— Ну, пожалуй. Не отравой же они кормят, да ради популярности, в наш век либерализма, надо же в некотором роде уважить их звонкую добродетель.

Господин расхохотался над собственной остротой, и вдруг, ни к селу, ни к городу, спросил:

— А знаете вы княгиню Лори N?

— По имени, даже с виду, но короче знать не имел счастья.

— Какая обаятельная женщина! Не молода, но всё ещё прекрасна; тип истинного аристократического величия. Какой дворец, какая ливрея, какие экипажи, во всём какая великолепная представительность! Не знаю за что, — господин скромно опустил глаза, — княгиня жалует меня своим особенным вниманием, которым, признаться, не любит щедрить. Часто пользуюсь честью у неё бывать, и каждый раз открываю какую-нибудь новую сторону её истинно княжеского быта. Представлю вам один пример. Однажды повстречались мы в манеже. Княгиня, — сами посудите, какая удивительная женщина, внучат имеет, а ещё страстно предана верховой езде, и на лошади картинка, — на полном галопе послала мне: «Прошу сегодня со мной отобедать, запросто!» Отправляюсь в шесть часов: было зимой, вхожу на лестницу, по ступеням расставлены, в бархатных ливреях, напудренные лакеи; прохожу чрез одну, чрез другую, чрез третью залу, освещены ярче дня. Признаться, смущение овладело мною, думаю, что за обед запросто, видно, будет много гостей, а я даже крестика на шею не надел; что в белом галстуке, само собой разумеется. Распахнулась портьерка пред будуаром, княгиня в туалете, протягивает мне ручку, а я гляжу всё на двери: когда же явятся прочие гости? Чрез мгновение метрдотель возвещает, поклонившись в пояс: «La princesse est servie». Встаём; спрашиваю с удивлением. «А прочих ожидать не станем?» — «Кого? Разве вам меня одной недостаточно? А я так довольствуюсь моим

одним дорогим гостем». — «Всегда любезны и остроумны, — говорю, целую руку, — но освещение, ливрейные слуги на лестнице заставили меня полагать, что зов «запросто» имел только значение любезной шутки». — «Освещение, прислуга, этот вздор ввёл вас в заблуждение? Так помните отныне, что княгиня N иначе за стол не садится, ежели бы даже никто не разделял с нею её скромного обеда». Вот это так называю жить по-княжески! — Господин с трудом перевёл дыхание.

— Да, да, — сказал приятель, благоговейно слушавший вещавшего, как бы громко размышляя, — под счастливою звездой надо родиться для того, чтобы в венском обществе достигнуть успеха таких колоссальных размеров; глаз на глаз обедать с княгиней N, да ещё при полном освещении и всей ливрейной прислуге на ногах; в некотором роде это стоит Седана. А вот есть же на свете люди, которые не совестятся то и дело кричать: в венском обществе к иностранцам невнимательны, нелюбезны; никак не сойдёшься с Венцами на дружескую ногу!

— Знал бы, кто позволяет себе жаловаться на венское общество, так тут же, при вас... — Господин покраснел до ушей и принял вид, будто ему нанесли личное оскорбление. — Не знаю, как других, а меня всегда отлично принимали, Жаловаться не смею; разумеется, зависит от того, как себя поведёшь.

— Понимаю теперь, вас принимали так отлично за ваше благонравие, а те, которые мне жаловались, не имели должного христианского смирения; совершенно дельно, начинаю уважать венское общество.

Господин сразу не понял, а потом в недоумении стал глядеть на моего приятеля, стараясь сообразить, следует ли ему сердиться или нет, но, встретив равнодушный, ничего не выражавший взгляд его, счёл за лучшее глотком кофея залить свою скрытую досаду.

Чтобы разговору дать другое направление, перешёл я к французским делам.

— Партизаны Луи Наполеона опять начинают всплывать на поверхность и непроскительным образом мутить во Франции едва возникающий порядок. Надеюсь, происки их останутся без успеха. Домогательство снова водворить во Франции власть, поставившую её в самое несчастное положение, доказывает только верх бесстыдства, до которого слепой эгоизм в силах довести людей, для которых слово «отечество» существует в одном смысле дойной коровы. Даже Базен

возымел надежду себя оправдать, как и чем — непостижимо моему слабому уму. Сто семьдесят тысяч и такую крепость, какова Мец, сдать двухсоттысячной неприятельской армии; да это не допускает и тени оправдания.

— Голод принудил, — подхватил чопорный господин, — всех лошадей поели.

— Зачем досиделись до того, что есть нечего стало.

— А что же было ему делать?

— Пробриться, оставив в крепости сколько нужно для обороны.

— Возможности не было. Сам Мольтке сказал: западня готова, и не уйти ему.

— Преклоняюсь пред таким авторитетом, — вмешался приятель мой, — но смею полагать, что в одном только случае приговор Мольтке мог послужить к оправданию Базена и прочих французских генералов, засевших в Меце.

— Очень любопытно знать этот случай.

— Когда Базен и прочие генералы, один за другим, сложили бы свои головы в попытках опровергнуть непогрешимость Мольтке — тогда бери крепость, забирай солдат; мёртвые остались правы. А то, кажется, все они, начиная с Базена, обретаются в добром здравии и поэтому нет им оправдания.

— А ежели высшие политические соображения?

— Политика для меня китайская грамота, ничего в ней не понимаю, сужу умом солдатским.

— В таком разе, думаю, найдёте в вашем уме лёгкое оправдание для злополучного маршала. Что если, примером сказать, он имел Луи Наполеона, своего пленного императора, приказание действовать таким образом. Положим, такой пассаж случился бы с нами: государь в плену, вы командуете армией и получаете от него приказание во что бы то ни стало сберечь его последнюю надежду, «преданную ему армию», как изволили бы вы поступить?

Замысловато улыбаясь и потирая руки, господин глядел на моего приятеля: знай, не с простаком дело имеешь — подвёл тебя к обрыву.

— Вопрос ваш, милостивый государь, ни с какой стороны к делу не подходит, — сказал приятель мой, не заминаясь, — следственно, освобождает от прямого ответа. Во-первых, у нас подобный пассаж не

может случиться во веки веков; до плена государева пришлось бы стереть с лица земли, до последнего человека, всю русскую армию, а это есть дело зубастое; во-вторых, видно каждому, кроме «преданной армии» за него стоят ещё семьдесят миллионов не менее преданного народа; и в-третьих, ровнять государя Русского с Луи Наполеоном значит посягать на здравый смысл и не понимать разницы, существующей между законностью и беззаконием. Подобное посягательство можно принять за личную обиду.

Господин смешался; но самолюбие не позволяло уступить.

— Однако что ни говори, Луи Наполеон всё-таки был настоящий император; восемнадцать лет владел Францией.

— Вольно Французам было его терпеть.

— К сожалению, мы смотрим на вещи с разных точек зрения.

— Не удивительно, разных министерств и разное понимаем. Но погодите, в последние годы много сору у нас подмели, выметут и эту разновзглядность, как каждого, прежде чем в камергеры, да в посланники, годика два заставят походить под такт барабана. Представить себе не можете, в какую удивительную гармонию умы приводить приятный звук телячьей шкуры. Спросите у господ Немцев; они скажут.

— Не сходимся во многом. Согласитесь, однако, что после падения Наполеона одно французское безумие могло продолжать войну против неодолимой германской силы. Смыслу нет у Французов; после таких уронов, как Вёрт, Гравелота и Седан ещё лезть на драку есть прямое преступление, и хорошо делали Прусаки, когда поступали с ними как с бунтовщиками: вешали и расстреливали франкфиров.

— Ваши слова служат новым только доказательством, как розно мы смотрим на вещи. По-моему, до Седана война для Франции действительно имела значение самой бессмысленной ошибки, и только после Седана получила смысл, достойный народа. Оборона родной земли против вторгнувшегося неприятеля — дело святое; не дело народа в таком случае рассуждать, кто прав и кто виноват, а защищать свою честь и Богом дарованное ему достоинство.

— Но без армии, без офицеров, без генералов — все в плену, надеяться на удачу, имея против себя многочисленную, отлично организованную, прусскую армию, всё-таки есть верх безумия. Результат это доказал.

— Полный успех остался за Немцами, спорить нечего, и Французы дорого поплатились за свой порыв, но они спасли свою честь, а честь

народная великое дело. Пока она жива, ничего ещё не потеряно, а погибла, так и народ погиб безвозвратно.

— Но коммуна, коммуна! не в конец ли погубила она честь французского народа, который вы изволите так горячо защищать? — с язвительною улыбкой возразил собеседник.

— Совершенно справедливо: коммуна, как дикий зверь, проревела свои сатурналии. Но позвольте спросить вас, объехавшего все европейские столицы, ежели не в одних салонах «à la renaissance» изволили изучать состояние умов, что случилось бы в Берлине, Мюнхене, Вене и разных других пунктах, когда вместо немецких побед французам бы удалось в летописи своей военной славы записать вторую Иену? Быть может, не менее чем в Париже расходилась бы чернь. Изволите ли знать, что такое значить коммуна которой добивался французский рабочий народ — слово придумано недавно, а вещь далеко не новая — в переводе на обыкновенный язык оно значить: подавай хлеба, подавай дешёвый кров, подавай забаву. За полтора века почти до нашей эры в Риме уже народ кричал — *panem et circenses* — кровь лилась ручьём и развалины дымились. В людях, какого бы ни было языка и племени, не исключая и немецкого, сидит зверь. Пообликала его наша цивилизация, как корова своего телёнка, гладок он с виду, ручным прикидывается, а в сущности остался тем же диким зверем. Что случилось в Париже, может случиться и у других. Поэтому позволено только жалеть французов, а не осыпать их ругательствами. Что же касается до продолжения войны, после первых страшных неудач, то, думаю, мы сами в подобном случае иначе бы не поступили.

— И впутались бы в безвыходное положение. Можем тягаться с кем угодно, только не с немцами. Прошу извинить, мы все свои здесь, правду можно говорить откровенно: какую же армию, каких офицеров, каких генералов, какое вооружение в силах выставить мы, у кого всё больше существует на одной бумаге, против такого высокого могущества интеллигенции и мудрой организации? Сунемся, так не дай Бог как побьют нас.

Приятель мой в свою очередь потерял терпение: краска бросилась в лицо, глаза засветились. Опасаясь взрыва, я под столом толкнул его ногой, чтобы несколько образумить, но он только взглянул на меня сердито и заговорил со злостью.

— Откуда изволили это взять? Как я понимаю дело, покуда нас не задели, ни с немцами, ни с прочими соседями ссориться нам не следует. Всегда готовы были жить со всеми в мире и в добром согласии. Немецкой славе мы не завидуем, имеем свои страницы в истории, и их самих не раз приводилось выручать из беды, хотя нам благодарностью за то не платили; за хлебом к ним не пойдём, своего довольно. Чего же нам у них искать? Пускай живут себе, как любо им; объединяются, сколько душе угодно, только в своих собственных границах, не проповедуя заносчиво, что доколе звучит немецкий язык — всё немецкая земля. Этим путём можно уйти маленько далеко. А станут мешаться в наши семейные дела, так сумеем отстоять свою землю да свою вольную волю. Не от вас первых слышу: нет у нас того, нет у нас другого; войско, ружья на одной бумаге; офицеры, генералы дела своего не понимают, куда нам тянуться за другими; есть и такие, что, одурев от чада, которого наглотались в заграничных палацах, воймя воют: горемычные мы, навеки осуждены у них учиться и перенимать и всё-таки недоучками оставаться; остаётся только пасть на колени да просить прощенья в том, что на свете живём да смеем русскими себя называть. А я вам доложу: есть кое-что у нас и не на одной бумаге, а на деле; и коли лично не заметили, так потому, что сами изволили всё в бумагах читать, не устаивая выглянуть за окно. Чего же недостаёт, то из земли вырастет, когда вражья нога ступит на Русскую землю; и ежели бы пришлось попятиться на миг, то, все знают, отдадим один песок да глину, — засылай они своих мертвецов, а не дадим чужому ни одного колоса нашей жнитвы, ни одной живой курицы. После того милости просим к нам пожаловать, с честью примем, с честью выпроводим дорогих гостей; мы же, надеюсь, к ним не пойдём, коли сами силой не потянуть.

Разговор прекратился; молчание водворилось за нашим столом.

Новому знакомцу стадо неловко. Он выглянул за окно, заметил, что дождь уменьшился, чем намерен воспользоваться для передачи поклона от княгини N. пользующемуся водами графу P.; раскланялся с достоинством и вышел из комнаты.

— За что вы его так строго отхлестали? — сказал добросердечный Москвич; — не твёрд в правилах, совершенно справедливо, а всё-таки можно было помягче дать наставление.

— Стоил того, — ответил приятель мой; — знакомы мне эти амфибии: русский по вышитому воротнику министерского мундира, сердцем немец,

душой лакей, готовый чваниться пред каждым, кто победнее да чином пониже, червяком извиваться пред всякою знатью, не разбирая, своя ли, или чужая, было бы только кому поклониться; поклонами он живёт.

— Вы, кажется, — заметил Остзеец, — больно немцев не любите и, главное, поэтому так беспощадно его укоряете.

— Безрассудной ненависти ни к кому не питаю; стараюсь каждому, в чём следует, отдать справедливость; но признаюсь, откровенно, могу любить только тех, которые нас любят и нам также отдают должную справедливость. А разве немцы нас жалуют? Чем выражается их любовь? Возьмите в руки любую немецкую газету, и вы ясно убедитесь в справедливости моих слов. Везде сарказмы, брань и открытое пренебрежение ко всему русскому. Не говорите, что немецкая пресса в еврейских руках, поэтому не выражает настоящего общественного мнения. Евреи люди умные, угощают абонентов по вкусу их, на рынок шлют только тот товар, на который спрос имеется, иначе читать не станут и банкротство неизбежно. Наши русские газеты никогда против немцев не допускали себе и сотой доли тех ругательств, которыми немецкие газеты нас осыпают при каждом удобном случае; станем держать себя, как они держатся в отношении к нам, гордо, неприступно, и поверьте, во мнении их мы выиграем на сто процентов, будут нас уважать и без понуждения штыком да пушкой, которыми в последнее время народы привыкли зарабатывать любовь и уважение совокупно со звонкою монетой. Засим прощайте, господа, завтра еду, прошу лихом не поминать!

— Как? так неожиданно скоро, — заговорили все разом, — придём провожать.

— Спасибо за любезное намерение, уверен в вашем добром расположении, но признаюсь, не люблю проводной церемонии. Даже знакомых мне дам не ходил провожать, а просто отправлял к ним букеты при визитной карточке. Должно быть, очень неловко для дамы: надо усаживаться в экипаж, укладывать дорожные мешки, картончики, думать, как бы «Мимишка» под колесо не попала, как бы горничная чего не позабыла; а тут пришёл малознакомый господин, рассыпается в комплиментах, в уверениях; надо улыбаться, отвечать любезностями...

На другой день, после полудня, пред подъездом у моего приятеля стояла коляска. Один я, по званию старого школьного товарища, пришёл его проводить. Привязали сундук позади экипажа. Домашние девы-

прислужницы, с хозяйкой во главе, приседая, желали ему счастливого пути и возвращения на будущий год, непременно к ним на квартиру. По приятному выражению, игравшему на их физиономиях, было видно, что он не поспешил на магарычи. Кучер подвязал тормоз и стал спускаться под гору, к Марктплацу, заставленному огромными почтовыми каретами, частью поглощавшими, частью изрыгавшими массы клади и пассажиров; мы сами пошли пешком.

На полугоре повстречались мы с дамой в сереньком бурнусе, личико под синей вуалью, шла она в гору, и вела за руку хорошенького мальчика, в бархатной курточке.

Приятель подошёл и простился с нею; она опять протянула ему свою маленькую ручку.

— Вы уезжаете, кончили курс? Желаю доброго пути, может, случится когда-нибудь, ещё увидимся.

Приятель молча поклонился. Когда она отошла на несколько шагов, язык у него развязался: — Как естественна, как искренна во всём, что делает и что говорит, как хороша, и как мила; право, не мог лучшей встречи пожелать в минуту отъезда; смотрю на неё как на счастливое предзнаменование — доеду до места без разбитой головы и без поломанных рук и ног.

— Зачем ты ей это не сказал?

— Затем, что женщинам её ума того не говорят; думать позволено и сказать своему приятелю, это не подлежит законному запрету.

Дня два после того и я спускался с той же горы, шагая следом за коляской, позади которой колыхался мой дорожный сундучок.

Торнау Ф. Ф.

Воспоминания барона Ф. Ф. Торнау.

I.

Приезд в Вену. — Обязанности военного агента. — Инструкция, данная мне в Петербурге. — Совет Е. П. Ковалевского. — Приказание императора Александра Николаевича. — Этикет австрийского двора. — Затруднения в представлении австрийскому императору. — Аудиенция. — Впечатление, произведённое на меня императором. — Обед во дворце. — Представление императрице. — Затруднительное положение. — Графиня Велден. — Обед у князя Эстергази. — Последствия моего донесения государю императору. — Вена летом. — Пратер.

В Вену я приехал 1 августа (20 июля) 1866 года, на смену графа Эрнеста Штакельберга, получившего назначение занять место посланника в Турине. До того ещё князь Горчаков, бывший посланником при австрийском дворе, был назначен министром иностранных дел; нашим венским посольством временно заведовал, в звании поверенного в делах, Виктор Петрович Балабин. Генерал граф Штакельберг имел приказание дожидаться в Вене моего приезда, познакомить меня с делами, касавшимися до моей обязанности, и представить тем высшим австрийским лицам, с которыми мне следовало сноситься по званию военного агента. В первый же день моего приезда я явился к Балабину, правившему посольством, при котором мне следовало числиться косвенным образом; а потом пошёл к Штакельбергу, знакомому мне ещё со времени его адъютантства при князе Чернышёве. Штакельберг находился на отъезде; жену свою (красавицу француженку, про которую я много слышал, но которой никогда не имел удовольствия встретить) уже отправил вперёд в Италию; поэтому, не теряя времени, повёз он меня к обер-гофмейстеру двора, князю Карлу Лихтенштейну, и к первому императорскому генерал-адъютанту, графу Грюнне, главным представителям двух ведомств, придворного и военного, а касательно дел мне объявил:

— Механизм австрийской армии, её организацию и воинские уставы вы найдёте у любого книгопродавца, а затем глядите, наблюдайте и поступайте по собственному разумению; иного вам сказать не имею.

Лежала на мне, как на каждом военном агенте, одна исключительная обязанность следить за техникой и всяким новым усовершенствованием военного дела в предназначенном государстве. В Петербурге по этому предмету мне была дана весьма подробная инструкция, видимо, составленная с полным пониманием специальной стороны важнейших военных вопросов, но без потребного знания заграничных порядков, почему и содержала много неудобноисполнимого. Умный Егор Петрович Ковалевский, управлявший в то время азиатским департаментом в министерстве иностранных дел, которому я её показал, только заметил:

— Весьма почтенный канцелярский труд; вам же советую: приехав в Вену, сдайте вашу инструкцию в посольство под замок и потом в неё не заглядывайте, а поступайте, как позволят обстоятельства. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Так я и сделал.

Лучшее наставление дал мне, когда я откланивался, покойный государь Александр Николаевич, и во всё моё пребывание за границей я твёрдо помнил его разумное приказание:

— Зорко следи за каждым улучшением по военной части, береги при этом достоинство русского офицера, и сам ни словом, ни делом не задавай чужого самолюбия. Никогда не теряй из виду, что все военные, какого бы ни было языка и знамени, между собой товарищи по долгу охраны спокойствия и государственной безопасности, и при честном исполнении своей обязанности заслуживаюся всякого уважения, хотя бы от того страдал наш собственный интерес.

На представлении моем Лихтенштейну и Грюнне дело не должно было остановиться; чрез них мне только открывалась дорога ко двору и войску, а главное дело оставалось ещё впереди. Следовало мне сперва представиться императору, императрице, эрцгерцогам, высшим лицам военного звания, и потом уже знакомиться с дипломатическим корпусом и с обществом. Для представления членам австрийского царствующего дома, начиная от императора до младшего эрцгерцога, следовало испрашивать аудиенцию. Казалось, в таком случае ближе всего мне было действовать чрез посольство, а тут-то и зарождался нескончаемый ряд затруднений. Наш министр, князь Горчаков, был отозван; посольством заведовал «поверенный в делах», а по австрийскому придворному этикету того времени (отменённому впоследствии) чины иностранных миссий,

ниже министра, не пользовались доступом ко двору; поэтому Балабин, сам не будучи лично представлен императору, не имел возможности прямо действовать в мою пользу, и ему бы пришлось повести дело чрез австрийское министерство иностранных дел, путём не довольно спешной дипломатической переписки. Мне же требовалось как можно скорее явиться императору — узнать, каким образом я буду принят им, что, в некотором смысле, могло послужить указателем меры добрых отношений, какие он располагает восстановить с нами после открыто неприязненного положения, которое австрийское правительство занимало против России во время восточной войны. Отчасти с такою целью мне и было приказано отправиться в Австрию ещё до коронации государя императора и до назначения в Вену русского посланника в замену князя Горчакова.

К счастью, мне открывался весьма удобный способ миновать этот, придворным этикетом поставленный, камень преткновения. В Австрии, как и в Пруссии, все носящие военный мундир, свои и чужие, пользуются одинаковым правом прямо являться к царствующему лицу, испросив волю его, в Берлине чрез городского коменданта, в Вене чрез первого императорского генерал-адъютанта. Говорю — первого, потому что в Австрии при императоре состоят всего два генерал-адъютанта, первый и второй, облечённые в это звание только на время исполнения генерал-адъютантской должности. Получив другое назначение, они теряют и звание генерал-адъютантской должности. Получив другое назначение, они теряют и звание своё наравне с флигель-адъютантами из штаба и императорскими адъютантами из обер-офицеров армии. На основании того военным принадлежащего права я письменно обратился к графу Грюнне, к эрцгерцогским адъютантам, обер-гофмейстерам императрицы и эрцгерцогинь, с просьбой доставить честь явиться их величествам и высочествам; и, могу сказать, неожиданно скоро получил мною просимые уведомления. Одно представление императрице было отложено по причине её недавних родов, бывших 12-го июля того года, дня рождения старшей императорской дочери, эрцгерцогини Гизеллы.

Император Франц-Иосиф принял меня в Бурге (венском дворце) в особой аудиенции, как военного, с обычной военной обстановкой, без содействия придворных чинов. Встретил меня лестнице и провёл по залам императорским адъютант, доложил обо мне флигель-адъютант. Минуту спустя очутился я глаз на глаз с австрийским императором, которого, по

общему небеспричинному настроению, существовавшему у нас во время восточной войны, привык считать нашим закоснелым недоброжелателем — и принуждён был значительно смягчить представление о нём, сложившееся под влиянием недавней политической распри, так далеко оттолкнувшей Россию от Австрии. Первое впечатление, которое на меня произвёл молодой двадцатилетний император, было, хотя не обаятельно, чему противилась его видимо холодная натура, но во всех отношениях удовлетворительно. Стройного роста, приметно сдержанный в речах и приёмах, глядел он несколько застенчиво, говорил медленно, взвешивая каждое слово, и внимательно прислушивался к ответам. Милостливо протянув мне руку, — имел он обыкновение, как я позже заметил, из дипломатического корпуса давать руку одним послам, военным же делал эту честь, кому захочет, не разбирая, какого чина, — после обязательного расспроса о здоровье государя и государыни, он слегка коснулся моей прежней кавказской службы и потом перевёл разговор на предмет, о котором неловко было бы промолчать пред русским офицером. Заговорил он о нашей последней войне, причём с должным приличием, осыпав горячею похвалою наши войска за славную Севастопольскую оборону, ни единым словом не коснулся общего хода военных операций, которыми, как известно, нам нечего было особенно гордиться. Заключил император извещением, что касательно цели моего пребывания в австрийских пределах им отдано приказание ничего не скрывать, и мне следует только обращаться к графу Грюнне за получением потребных мне военных сведений. Тогда же показалось мне, — думаю, мало ошибаюсь, — что император Франц-Иосиф в своих действиях против нас во время войны, да и позже, гораздо более подчинялся так называемому «*raison d'état*», чем своему собственному чувству, которое его, тогда ещё абсолютного монарха, непременно должно было склонять на сторону России. Мне самому в продолжение моего долгого пребывания в Вене не удалось подметить в нём ни малейшей тени нерасположения ко мне как к русскому офицеру, озабоченному одним исполнением своих служебных обязанностей, помимо всяких посторонних соображений. Бывали минуты официального охлаждения, но всегда по поводу какого-нибудь политического разногласия между двумя правительствами, а император Франц-Иосиф тем временем при случайных встречах лично продолжал относиться ко мне равно внимательно.

За обеденным столом, к которому я был приглашён скоро после аудиенции, австрийские генералы, следуя императорскому примеру, наперерыв старались своею приветливостью произвести на меня самое приятное впечатление. Не знаю, какого рода чувства они таили в глубине сердца, но формы самой утончённой вежливости были строго соблюдены; и больше того никто не вправе требовать от чужих, да и от своих, когда отношения не скреплены непритворным дружелюбием, возможным только между людьми, связанными одинаковым интересом. Бывают исключения — сам испытал — но часто ли встречаются они, эти случаи безрасчётного доброжелательства, пусть каждый спросит самого себя.

В конце августа (по грегорианскому календарю, которого и впредь стану держаться), вместо просимой мною аудиенции меня пригласили в Лаксенбург к императорскому столу, где перед обедом состоялось моё представление императрице, которая, считая не больше девятнадцати лет, находилась тогда в полном цвете красоты, на мой взгляд нимало не уступавшей прославленной красе позже мною виденной супруги Луи Наполеона. Императрица Элизабет казалась даже несравненно привлекательнее. Высокая, стройная, грациозная, отличалась она нежно обрисованными чертами лица прозрачной белизны, на котором в то время лежал ещё оттенок томной бледности от недавней болезни. Опустив ресницы, будто робея, подошла она и заговорила по-французски шёпотом, так тихо, что я слова не мог разобрать, и мне пришлось отвечать ей почти наугад. При ней находившаяся фрейлина, — в Австрии они носят название дам, «Hofdame», не смотря на своё девичество, — графиня Ламберг, спросила меня, когда мы пошли в столовую:

— Императрица говорит непростительно тихо; успели вы расслышать, о чём она вам говорила?

— Ничего не расслышал.

— Как же вы отвечали?

— Наугад, — надеюсь, боги меня уберегли от «да» или «нет», сказанного невпопад.

— Надо было, не расслышав, переспросить.

— А от этого меня удержала счастливая догадка, хотя только начинаю проходить школу придворного этикета, ведь я до сей поры при дворе никогда не служил.

За столом мне пришлось сидеть по правую сторону от императрицы, возле которой место занимал эрцгерцог Максимилиан, между баронессою Велден, облечённой в звание воспитательницы новорождённой эрцгерцогини, и графинею Ламберг. Разговор вела со мной баронесса Велден по-французски. Посреди обеда эрцгерцог Максимилиан наклонился к ней и довольно громко сказал несколько слов, после чего она по-немецки обратилась ко мне с вопросом, слышал ли я, что изволил сказать его высочество.

— Нисколько, я с намерением уклонился в другую сторону, когда он с вами заговорил.

— Эрцгерцог, — сказала она, — заметил мне, почему я говорю с вами по-французски, когда вы по-немецки говорите не хуже нас; бросим теперь французский язык.

Это послужило мне уроком при дворе всегда говорить по-немецки, разве сам император или кто из эрцгерцогов заговорят на другом языке.

По окончании обеда отбыли мы обычный «cercle», заключающийся в расстановке приглашённых по старшинству и званию вокруг приёмной комнаты, после чего их обходят сперва император, а потом императрица, обращая к каждому нисколько милостивых слов, и, совершив круг, раскланиваются, что и служить сигналом расходиться по домам.

Прогуляв несколько времени по тенистому Лаксенбургскому саду, к вечеру вернулся я в город. Не стану распространяться в описании Лаксенбурга и его окрестностей. Какой турист, побывав в Вене, не любопытствовал взглянуть на Шёнбрунн и на Лаксенбург, эти две императорские загородные резиденции, и по южной железной дороге не проехал в Баден и Фёслау, служащие летним купальным притоном для значительной части венской публики? Издавшему нечего рассказывать, он сам испытал, в котором из этих мест живётся приятнее и дешевле; а кто не видал, того Бедекера красная книжечка и ряд весьма дешёвых фотографий лучше моего рассказа познакомят с Лаксенбургом, Баденом, Фёслау, Мёдлингом и прочими истинно живописными окрестностями весёлой Вены.

Благосклонный приём со стороны императора и приглашение в Лаксенбург, выходявшее из ряда обычного почёта, оказываемого лицам иностранных миссий, имели полное значение дружелюбной демонстрации в угождение приславшему меня русскому государю. По обязанности моей

я не замедлил донести обо всём, как было, и скоро после того имел удовольствие узнать, какое благоприятное впечатление произвёл мой рапорт. В конце сентября вернулся в Вену князь Павел Эстергази, присутствовавший в Москве на коронации государя Александра Николаевича в звании австрийского экстраординарного посла. Скоро после того мне принесли визитную карточку от князя, и вслед за тем я получил от него приглашение к обеду, на который явился, решительно не понимая, из-за какой благодати Эстергази меня жалует такою внимательностью, когда сам я ещё не успел побывать у него. Дело тут же объяснилось. Встретил меня князь Эстергази неожиданным приветствием:

— Я обязан вам благодарностью, вы оказали мне чувствительную услугу.

— В первый раз имею честь видеть вас — не понимаю, чем мог услужить вашей светлости.

— А вот чем вы мне услужили. Во время коронации, на первых порах, откровенно говоря, моё положение было далеко не завидно. Государь и вслед за ним московское общество заметно холодно относились ко мне и к моему английскому коллеге. Исключительную внимательностью пользовался один Морни; императрица ваша с ним открыла первый большой бал. Несколько дней спустя, государь подошёл ко мне на другом бале и в самых лестных выражениях высказал мне свою признательность за ласковый приём, которым вас отличили при нашем дворе. «Донесение, полученное мною по сему случаю от моего полковника, — сказал государь, — очень обрадовало меня, прошу, передайте это вашему императору». С той поры моё положение совершенно изменилось, и мне остаётся только хвалиться милостью вашего государя и гостеприимною внимательностью русского общества. Этим обязан я вашему донесению.

— В таком случае я исполнил только свой непереманный долг, сообщив чистую правду.

Затем во всё время моего пребывания в Австрии я продолжал пользоваться добрым расположением князя Эстергази, и в доме у него провёл немало приятных минут. Значит, говорить правду — не всегда же приносит одни горькие плоды.

Остановился я в «Штадт Франкфурт», не самой видной, но, положительно можно сказать, лучшей венской гостинице того времени. Несмотря на небольшой размер комнат, в которые только вскользь

проникали солнечные лучи поверх крыш противоположных высоких домов тесной «Шпигель-гассе», эта гостиница служила любимым пристанищем австрийских магнатов, всегда была переполнена приезжими, что и принудило меня довольствоваться очень непросторным, зато более светлым номером, на высоте третьего этажа. Позже, до приезда жены, остававшейся в России, пока успею оглядеться в новом месте, переместился я в меблированную квартиру в частном доме, откуда и повёл свои первые наблюдательные прогулки по городу и его окрестностям.

Летом в Вене, хоть шаром покати, не увидишь ни единой души высшего круга — по улицам шныряют одни мелкие чиновники, торговцы, лавочные барышни, да рабочий народ хлопочет около домов и мостовой, требующих вечной починки. Двор переезжает в Шёнбрунн или Лаксенбург, аристократические фамилии проводят лето в своих поместьях, военные в лагере, дипломатический корпус рассеян по ближайшим окрестностям, зажиточное купечество, особенно еврейского происхождения, заселяет Баден, Фёслау и Брюль, возле Мёдлинга. Поэтому мне не с кем было знакомиться; тратить время на визиты не представлялось ни малейшей нужды, и я весь свой досуг отдал изучению города и народной жизни. А тут в Вене есть к чему приглянуться. Пред всеми германскими городами, кроме Берлина, в последние годы ушедшего далеко вперёд, Вена отличается своим живым уличным движением, неугомонной гонкой за наживой и за удовольствиями. «Ein profitables Geschäft machen» — мысль, не покидающая его ни днём, ни ночью, подгоняет сына ветхого завета; «sich unterhalten» стоит на первом плане у крещёного коренного венца. Прекрасный пол идёт тем же путём, который ему указываешь мужья, отцы и братья, и грешно было бы не любоваться венками; так много встречаешь между ними красивых лиц, прелестных талий и ножек, обутых не хуже, чем в Париже и в Варшаве.

В Германии ходить всем известная поговорка: «In Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen».

Очень несправедливо! Северная Германия не вправе хвалиться красавицами; именно в Саксонии редко встречаются женщины стройного склада; кроме того, они сплошь и рядом наделены природой не весьма красивыми ножками. За малым исключением ноги велики, широки и плоски — от этого далеко не привлекательная утиная походка. В Австрии же повсюду встречаются замечательно красивые женщины самых

разнородных типов, по причине разноплеменности её населения. Миловидные и неглубокодумные, жадные на всякую забаву, наряжаясь и кокетничая, беспечно рассеивают они цвет своей молодости по гладкому паркету или по скользкой мостовой, кому как судьба указала, и тем придают всем общественным слоям мягкий оттенок мало чем возмутимого благодушия, составляющего известную австрийскую «Gemütlichkeit».

Поэтому, кажется, вернее было бы вместо Саксонии пометить Австрию поговоркой:

«Das gemüthliche Österreich, an fischen¹⁹ Mädchen so reich».

Среди мужского населения такое благодушие, однако, весьма обманчиво: неосторожно было бы полагаться на него без всякой оглядки. Низший класс вообще очень груб, ленив, не отличается понятливостью и пропитан злостью, доходящею до свирепости по самому малому поводу. Много тому способствует опьянение от тяжёлых пивных паров. В середине города пьяных почти не встречаешь — полиция тщательно их подбирает; зато в кабаках и в пивных, по городским окраинам, дня не проходит без драки, и редкая драка обходится без увечья и убийства. Австрийский простолудин постоянно прячет в карман складной ножик, так называемый «Taschenfeitel», и чуть не в силах одолеть своего противника палкой или кулаком, хватается за этот инструмент и колет куда попало. И не только в минуту раздражения способен он поработать ножом, а из-за бездельного спора, из-за бранного слова готов подкараулить обидчика и всадить ему ножик из-за угла, после чего с тупоумным равнодушием отдаёт себя в руки полиции, коли не успел бежать, иной же раз отбивается, как разъярённый зверь, пока не успеют его скрутить. Более благонадёжная «гемютлихкейт» положительно начинает проявляться только в народных слоях, уже получивших лёгкий образовательный лоск, ежели притом некоторый недостаток позволяет жгучий вопрос о дневном пропитании заменить вопросом о препровождении времени, наполняя его удовольствиями, в Вене столь легко доступными каждому, у кого в кармане не царит совершенно безотрадная пустота. Тут венский уроженец раскрывает наблюдателю широкое поле для изучения своего бытового направления,

¹⁹ «Феш» — местный венский термин, для которого на русском языке нет подходящего слова, и французский «шик» не то выражает; «феш» означает живую, бойко-щеголеватую, всегда весёлую красотку.

имеющего главной целью уже сказанное «sich unterhalten», т. е. пожить в своё удовольствие.

Высшее венское общество, как везде, страстно предано театру и балету. В этом отношении, с небольшим, местным, едва уловимым оттенком, Вена представляет ту же яркоцветную картину великосветской жизни, какую можно видеть в Париже, Петербурге, Берлине. И знаменитый Пратер, зимой и летом служащий ежедневно местом прогулки для венского общества, мало чем отличается от прочих загородных столичных гульбищ, доставляющих удовольствие себя показать и поглазеть на публику — вся разница в том, что в Пратере более попадаете красивых женщин, чем кровных лошадей, которыми Лондон и Петербург богаче Вены. Поэтому нечего рассказывать, как и где венское привилегированное общество проводит своё время.

II.

Конкордат. — Его значение для Австрии. — Его создатели. — Внутреннее состояние Австрии. — Министр Бах. — Поездка императора Франца-Иосифа в Венгрию. — Общее недовольство. — Результаты близорукой политики. — Смотр венскому гарнизону. — Несчастный случай со мной. — Придворный обед. — Австрийские войска. — Императорская свита. — Венское высшее общество. — Голландский посланник Геккерт. — Его злой язык. — Графиня Елена Эстергази. — Графиня Баттани и её похождения. — Камергер Полянский.

Австрию застал я в полном цвете «конкордата», заключённого с папой, 18-го августа 1855 года, ради утверждения за католической религией, как значилось в тексте, тех преимуществ, какими она должна пользоваться по воле Господней и по церковному закону. Первый шаг к этому договору был сделан ещё при жизни министра-президента, князя Феликса Шварценберга, отменой Иосифом II установленного «Placetum regium», которым запрещалось без воли правительства обнародовать какие бы то ни было папские постановления. За сим уничтожались конкордатом все другие, позже изданные, церковную власть стеснявшие законы. Епископам открывалось неограниченное право по всем церковным делам прямо сноситься с папой, запрещать Риму неугодный книги и газеты, авторов подвергать публичному порицанию, руководствовать

преподаванием во всех учебных заведениях, не исключая университетских лекций, каждого нарушителя церковной дисциплины карать церковным наказанием, каковое, по старым австрийским законам, сверх того, сопровождалось потерей разных гражданских прав. Праву церкви учреждать новые мужские и женские монастыри и приобретать движимое и недвижимое имущество не ставилось никакого предела. Все дела, касавшиеся до брака, коли одна сторона принадлежала к римской церкви, исключительно отдавались на суд католических консисторий, имевших безапелляционное право по своему усмотрению дозволять и запрещать такого рода смешанные браки, равномерно разрешать бракосочетание католиков, состоявших в степени родства, недозволенной каноническим законом. Хотя брак католического с некатолическим лицом прямо был объявлен делом, противным воле Божией и закону природы, но допускался за положенную плату, послужившую обильным источником обогащения папской казны. В довершение всего доход с восьмидесятимиллионного фонда — «Religions und Studienfond», — составленного Иосифом II из имущества семисот им упразднённых монастырей на содержание приходских священников, школ и разных благотворительных заведений, был отдан в полное распоряжение епископов и таким путём поступил в непосредственное ведение римской курии.

Такие постановления конкордата, отодвинувшие Австрию в отношении веротерпимости ко временам Фердинанда II, невыносимым гнѐтом легли на всё разноплемѐнное католическое и некатолическое население империи, а само правительство лишили симпатии всего просвещѐнного, в особенности же протестантского, мира. Сочувствовало конкордату одно высшее дворянство, иезуитским воспитанием и сословным интересом крепко прикованное к Риму, благодушно принимающему в лоно своей церковной иерархии обездоленных младших сыновей и братьев майоратами наделѐнных магнатов. Силою и богатством римской церкви обеспечивалось существование значительного числа непервородных потомков лучших семейств. Как же при таком порядке вещей австрийской аристократии было не сочувствовать всякому расширению духовной власти и безграничному умножению церковного богатства?

Торжествовали Рим и высшее австрийское духовенство; зато деревенские, приходские священники, эти на вечную бедность обречѐнные

парии католической церкви, ниже прежнего понурили головы: их материальный быт остался в прежнем положении, и только, лишённые последней тени гражданской защиты, конкордатом они отдавались на безотчётный произвол своих епископов.

Главными деятелями конкордата были венский архиепископ Раумер, за такой подвиг возведённый в звание кардинала; министр граф Лео Тун, отъявленный клерикал, слепой исполнитель властолюбивых замыслов патера Бекса, генерала ордена иезуитов, и ловкий делец — министр Бах, одинаково ревностно готовый служить церкви и её противникам, лишь бы удержать в руках свой министерский портфель. Граф Буль, заступивший во главе министерства иностранных дел князя Шварценберха, умершего в 1852 году, не размышляя, шёл по дороге, проложенной своим прещественником.

Молодой император, не успевший ещё приобрести потребного опыта в государственном управлении, покоряясь влиянию своей иезуитами совершенно опутанной родительницы, эрцгерцогини Софии, настоянию министров, да и по собственному религиозному чувству, не задумываясь принял все папой предложенные условия. Успели уверить императора, будто помощью лишь усиленного могущества католической церкви может быть восстановлена твёрдым образом собственная, революцией ослабленная власть. Последствия доказали, что все сторонники конкордата, в том числе даже очень дальновидные отцы иезуиты, радикально ошиблись в своих расчётах. Конкордат не только ничего не укрепил, а напротив расшатал штыком и пушкой только что скреплённые связи австрийского государственного здания, и самому правительству стал камнем преткновения на пути гражданских преобразований, повелительно требуемых духом времени.

Государственная власть наружно казалась прочно установленной во всех частях многоязычной империи: повсюду господствовала полная тишина. Революция, Виндишгрецом подавленная в Праге и в Вене, Радецким в Италии, Гейнау в Венгрии, благодаря русской помощи, чаялось, следа не оставила; самые тягостные, самые несообразные правительственные распоряжения проводились без помехи и без сопротивления. Конституция, дарованная Францом Иосифом всем австрийским подданным, 4-го марта 1849 года, уничтожена, наравне с конституцией, обнародованною императором Фердинандом, 25-го апреля,

1848 года; венгерское королевство было обращено в австрийскую провинцию с отменой политических прав, до восстания принадлежавших венгерскому народу; итальянские области, увлечённые надеждой восстановить свою народную независимость, были усмирены силой оружия; южные славяне, в награду за кровь, пролитую ими против венгров в пользу империи, поставлены в обидно двусмысленное положение, которому они принуждены были покориться, как покорялись своей судьбе все остальные народности, подведённые один общий уровень самых тягостных полицейских мер, не давших, однако, в продолжение времени желанного результата. При этом австрийское правительство сделало ошибку, от которой продолжает страдать до настоящего времени. До 1848 года различные австрийские народности, пользуясь полным равноправием, мирно прозябали одна возле другой; стараясь восстановить свою революцией потрясённую власть, правительство разбудило благодушно дремавший племенный антогонизм: славян вооружило против венгерцев; из чехов образовало полицейской надзор в немецких провинциях; славян, проявивших свою силу, повело путём скрытой германизации и पुше всего принялось косвенно теснить протестантов, составлявших в Венгрии религиозно-политический элемент, не допускавший открытого нарушения принадлежавших ему исторических прав. Венгрию, разделённую на пять административных округов, взамен прежде существовавших комитатов, наводнил чиновниками немецкого происхождения, слова не знавшими по-венгерски, нарядив их, для придачи им местного вида, в испещрённые золотыми шнурами мундиры венгерского покроя, за что и были прозваны в народе «баховскими гусарами».

Таким же образом пражская полиция была составлена из немцев, не владевших чешским языком. Языки смешались ровно при вавилонском столпотворении: правители и управляемые, блюстители общественного порядка и публика, не понимая друг друга, становились в тупик, злились, путались, и чем больше выходило путаницы, тем сильнее возрастала их обоюдная ненависть, правительственный авторитет утопал в омуте бюрократической неурядицы, дошедшей наконец до того безотрадного положения, из которого может вывести один крутой поворот на новую дорогу. Граф Тун своею иезуитскою аргументациею, Бах своею удивительною находчивостью, не брезгавшею даже прямым обманом, постоянно вводили в заблуждение молодого императора касательно

истинного положения дел. Резким примером, как Бах ловко умел пользоваться обстоятельствами, служила первая, в 1852 году им устроенная, поездка Франца-Иосифа во вновь организованную, к империи присоединённую, венгерскую провинцию. Пред императорской поездкой сам Бах съездил в Пешт, переговорил с местными начальниками и под рукой распустил слух, будто император венгерцам везёт полную горсть негаданных милостей. Знал он, что венгерцам более всего желательно восстановление королевства на прежнем основании, без чего никакая милость, никакая льгота их не примирят с австрийским царствующим домом, и знал, что этого не будет. В надежде на такую высокую милость, венгерцы восторженно приветствовали императора — и горько ошиблись в своём ожидании. Императору же Бах объяснил народный восторг пламенным выражением преданности и благодарности за новую организацию и присоединение Венгрии к могущественной Австрийской империи. А какой переворот произошёл от этого в народном чувстве, как после того даже магнаты, дотоле преданные двору, стали переходить на сторону оппозиции, нисколько не тревожило барона Баха: император остался доволен своей поездкой, сам он крепче прежнего уселся на своём месте, чего только и домогался, придумав с повязкой на глазах провезти по Венгрии своего доверчивого повелителя.

Повинуясь силе обстоятельства австрийские народы, не нарушая послушания, покорялись административным и полицейским мерам, направленным против их политической свободы, но эта вынужденная покорность перешла в громкий ропот, когда духовенство, в силу прав, данных ему конкордатом, наложило руку на семейный быт и принялось подводить под церковную цензуру вседневные отправления частной жизни. Первым последствием конкордата явился строжайший запрет не-католиков хоронить на католических кладбищах; даже покойникам военного звания, не принадлежавшим к римской церкви, были отведены особо отгороженные уголки на католических погостах. После того школа и брак сделались предметом непримиримой распри между церковными властями и народом. Со всех концов империи посыпались жалобы и протесты, ропот умножался, негодование разрасталось в массах и дошло, наконец, до того предела, за которым ему остаётся только перейти в открытое сопротивление. От самого слабого толчка грозило рушиться на рыхлой почве административного произвола построенное, клерикальным

властолюбием увенчанное, здание Туно-Баховской политики. Наступила неудачная итальянская война — Маджента и Сольферино громовым ударом разразились над Австрией, обнаружили несостоятельность вооружённой силы, на которую правительство полагало всю свою надежду, оппозиция громко заговорила, и обманутый в своих лучших ожиданиях император Франц-Иосиф увидел себя принуждённым радикально изменить принятую им систему правления, после чего и конкордат не устоял против напора общественного мнения.

Войска в сборе не привелось мне увидеть раньше ноября. Собираясь посетить итальянские провинции, император Франц-Иосиф, пред отъездом своим, на городском гласисе произвёл смотр войскам венского гарнизона, сколько помнится, в составе двух пехотных дивизии, бригады кавалерии и двух полков артиллерии. На другой день был назначен большой придворный обед, на котором долженствовал присутствовать весь дипломатический корпус, посреди значительного числа военных чинов Австрийской империи. Императорской военной свите и иностранным офицерам, — в Вене тогда находились только я да прусской службы майор Камеке, о котором мне часто ещё придётся говорить, — для сопровождения императора надлежало собраться у дворцового подъезда на Белларии. Этот смотр едва не обошёлся мне очень дорого. Жиль я в Ренгассе, против дома Ротшильда, на смотр принуждён был ехать на совершенно мне незнакомой лошади, взятой напрокат из какой-то частной берейторской школы, и не успел рысью выехать на Фрейунг, как мой конь, поскользнувшись на гладкой мостовой, вместе со мной повалился на землю копытами вверх и стал биться, домогаясь встать на ноги. Моя левая нога попала под лошадь, правую ногою мне удалось оттолкнуть её в противоположную сторону, иначе она бы мне помяла грудь и рёбра. Как водится в подобном случае, мигом окружила меня толпа любопытных.

— Давайте воды! Несите в ближайший дом! — закричали некоторые зрители.

На лицо случившийся г. Фраппар, первый венский балетный танцор, поднял и поставил меня на ноги, что и доставило мне удовольствие лично с ним познакомиться.

Первое мгновение я простоял, не помня себя, — венская гранитная мостовая не особенно мягка, — но скоро оправился и окружавших меня господ только попросил, несколько пообчистив, мне помочь снова сесть на

лошадь, после чего поехал, куда следовало. Вышел император на Белларию, большим галопом отправился к войскам, обскакал три линии и потом два раза пропустил полки мимо себя церемониальным маршем. Скакал и я, сидя на балансе; нога, бывшая под лошадью, висела, как чурбан, а боль увеличивалась в ней с каждым мгновением. Вернувшись на Белларию тем же быстрым аллюром, император слез с лошади, чему последовала вся свита; я один остался на седле.

— А вы не располагаете спешиться? — взглянув на меня, спросил граф Грюнне несколько ироническим тоном.

— Желал бы, да не могу. Пред смотром вместе с лошадью лежал на мостовой. Одной ногою решительно не владею; боюсь при малейшем движении ничком улечься на землю.

— А! Я этого не знал; надо вам помочь.

Грюнне позвал придворного жандарма; меня сняли с лошади, усадили в карету и отвезли на квартиру.

Явился доктор, осмотрел ногу, перевязал, уложил меня в постель и приказал прикладывать холодные компрессы. Выше колена оказалась глубокая рана, прижатая нога посинела от прилива крови; полома не было. Похождение моё огласилось в газетах. Не хотелось мне, однако, миновать первый официальный обед да, пожалуй, ещё в глазах господ австрийцев показаться плохим солдатом, неспособным превозмочь малейшую боль. Просил я доктора во что бы ни стало доставить мне возможность обуть больную ногу, хотя бы на самое короткое время, чего он и достиг, приказав её натирать хлороформом с утра до самого обеда. К шести часам я оделся, поехал во дворец, высидел обед, выстоял весьма продолжительный «cercle», в течение которого ко мне подходили император и императрица, отвечал на речи их, не показывая вида, будто страдаю; когда же пришлось расходиться, боль меня одолела: пошёл я, упираясь в стену, как бывает с человеком, неосторожно выпившим за обедом лишний стакан.

Эрцгерцог Альбрехт заметил моё странное шествие, подошёл разведать причину и узнав, в чём дело заключалось, позвал придворного лакея, который меня под руку провёл к экипажу.

Три недели после того пришлось мне с перевязанной ногой пролежать на кровати.

Войска, бывшие на смотре, произвели на меня хорошее впечатление. Построения делались правильно, не особенно скоро, зато без лишней

суеты. Белые мундиры придавали пехотному строю очень красивый вид; кавалерия отличалась ездой, но не щеголяла лошадьми, как у нас, подобранными под рост и под одну масть. Артиллерия, на мой взгляд, ни орудиями, ни запряжкой, ни поворотливостью не могла состязаться с нашей артиллерией; зато, сказывали, превосходила её в цельной стрельбе, чему я должен был поверить на слово, не имея возможности на смотре познакомиться с её боевыми качествами. Не вхожу в дальнейшие подробности касательно обучения, обмундировки и вооружения австрийских войск, что и в своё время могло интересовать одно наше военное министерство, а теперь потеряло всякое значение для позднего читателя этих записок, так много с этой поры над головой австрийского, да и всякого другого европейского солдата, прошло реорганизаций, новых обмундировок и перевооружений. Скажу только, что императорская свита не одной добротой лошадей и блеском мундиров, но и числом военных знаменитостей времени ещё наполеоновских войн способна была обратить на себя общее внимание. Кроме человек шести старых и молодых эрцгерцогов, императора сопровождали три фельдмаршала — Виндишгрец, Ньюжан, Вратислав, генералы Вимпфен, Шлик, Гесс, Бенедек, занимавшие весьма почётное место в преданиях австрийской армии. Белые генеральские мундиры, при красных панталонах, эффектно красовались посреди раззолоченного конвоя дворцовой трабантен и арцирен лейб-гвардии. С непривычки мне показалось несколько странным отсутствие эполет, — мимоходом сказать, в сущности очень практичная выдумка. На взгляд же военного человека, привыкшего по эполетам различать чины, без них чего-то недостаёт в обмундировке. Офицер без эполет представляется глазу его ровно петух без гребешка. Но к этому скоро привыкаешь. Одни чересчур укороченные полы у офицерских кафтанов очень мне не понравились — на молодом человеке стройного склада ещё ничего; на старом толстяке больно некрасиво.

Император смотром остался весьма доволен, да, признаться, самый строгий взгляд не отыскал бы повода к порицанию. В те же годы император, Франц-Иосиф, всецело преданный военному делу, в армии своей, прошедшей чрез революцию, не изменив долгу своему, увенчанной двумя блестящими победами над сардинскими войсками, видел несокрушимый залог своего могущества и своей будущей славы. Всё в ней его занимало и радовало. Поэтому, собрав около себя на Белларии

начальников частей, бывших на смотре, он милостиво стал им оказывать свою признательность именно в ту минуту, когда я не в силах оказался, спешившись, подойти и выслушать его слова.

Понятно было, если графу Грюнне показалось несколько странным и даже неуместным, что я остаюсь на лошади, когда спешился император, и вся свита, покинув лошадей, его окружила.

Извинила меня положительная невозможность исполнить то, что сделали все другие.

Венское общество из своих поместий переселяется в город очень поздно, не раньше декабря, когда кончается охота. С этой поры начались мои первые знакомства в кругу австрийских фамилий; первенствующим лицам дипломатического корпуса, проводящим летнее время в ближайших городских окрестностях, я был представлен ещё раньше Балабиным и новоприбывшим посланником нашим, бароном Будбергом. В среде дипломатов, датский министр, граф Билле-Браге, человек весьма почтенных лет, счастливый обладатель милоликой, далеко не пожилой супруги, и испанский посланник, Дальон, у которого подрастали две дочери, обещавшие стать на ряду красивейших венских «comtessen» (как в Австрии величают каждую девицу, будь её отец князь, граф или барон), сверх официального приёма, имели обыкновение собирать ещё более тесный кружок хороших знакомых в своих приятных салонах. После театра, кончающегося в Вене не позже десятого часа, всегда можно было зайти к Билле-Браге или к Дальону с уверенностью не скучая провести зимний вечер. Принимали и другие в Вене пребывавшие послы и посланники, ограничиваясь, однако, зваными вечерами и обедами, которыми тщеславно старались друг друга перещеголять. И Гекерн, чрез Петербург прошедший нидерландский министр, оставивши у нас не весьма добрую память по поводу несчастной кончины Александра Пушкина, несмотря на свою известную бережливость умел себя показать, когда требовалось сладко накормить нужного человека. В одном следовало ему отдать справедливость: он был хороший знаток в картинах и древностях, много тратил на покупку их, менял, перепродавал и всегда добивался овладеть какою-нибудь редкостью, которою потом любил дразнить других, знакомых ему собирателей старинных вещей. Квартира его была наполнена образцами старинного изделия, и между ними действительно не имелось ни одной посредственной вещи. Был Гекерн умён; полагаю, о правде имел

свои собственные, довольно широкие, понятия, чужим же прегрешениям спуску не давал. В дипломатическом кругу сильно боялись его языка, и хотя недолюбливали, но кланялись ему, опасаясь от него злого словца.

Случилось мне однажды сидеть возле него на придворном бале. Мимо нас, гордо вперив глаза в потолок, прошёл новонаименованный, далеко не синекровный, министр финансов, не успевший ещё научиться при дворе выступать с подобающим смирением.

— Вы полагаете, — заметил Гекерн довольно громко, — этот господин так высоко держит голову в чувстве своего нового достоинства; нисколько — считает он свечи на люстрах, соображая, нельзя ли в бюджет сделать сокращение по пункту бального освещения.

На больших придворных балах, перед их заключением, императрица проходить чрез всю танцевальную залу к чайному столу, устроенному в особой комнате, приглашая следовать за собой послов с супругами и жён прочих начальников иностранных миссии. В то время в Вене находился в звании султанского посла, князя Калимахи, маленький, худенький господин супруга же его пред всеми венскими дамами отличалась пышными формами своей объёмистой особы. Отправилась процессия, которой предшествовал церемониймейстер, постукивая жезлом. Вслед за величавой императрицей, скользившей лёгкою поступью по гладкому паркету, пыхтя, плыла на всех парусах княгиня Калимахи, торопясь не дать другой даме себя опередить; возле худенький супруг, покачиваясь, быстро перебирал ногами.

Опять довелось мне недалеко от Гекерна следить за этим любопытным шествием.

— *Regardez moi*, — обратился он ко мне, — *comme ce couple represente bien: lui, la Turquie defaillante, elle, le Divan dans toute sa splendeur*²⁰.

Таких едких замечаний за Гекерном считалось очень много — всего не припомнишь.

Гордое австрийское общество спокон веку отличалось своею надменною исключительностью, и эта слава осталась за ним по настоящее время. Сказать нельзя, будто австрийская аристократия, не соблюдая должной вежливости, чуждается иностранцев обидным образом, но не

²⁰ Принуждён приводить некоторые слова на том языке, на котором они были произнесены, ради сбережения того едва уловимого оттенка, который в переводе не всегда можно передать совершенно точно.

менее того она постоянно уклоняется от всякого дружеского сближения с ними. Иностранцу, какого бы ни было высокого положения, в Вене можно прожить десятки лет, всех знать, у всех бывать, и всё-таки остаться чужим в глазах своих дорогих австрийских приятелей. Бывают случайные исключения, но чрезвычайно редко. Знакомство обыкновенно ограничивается приглашением на обед, балы, рауты, и — разменом визитных карточек, которые отдаются, не спрашивая даже, дома ли хозяйка, или хозяин. Так заведено.

Высшее австрийское общество не лучше и не хуже всякого другого европейского образованного общества, равного ему по достатку и по происхождению: своим чередом страсти и страстишки всякого рода, благородные и неблагородные, туманят гладкую поверхность светским лоском прикрытой семейной жизни, происходят скандалы, но всё это творится келейно, по возможности, припрятано от чужого глаза. Как женское сердце ни своевольно в выборе своих привязанностей, но у австрийских светских дам, кажется, оно приучено покоряться строгой кастовой дисциплине, загорается лишь в пользу своего собрата по языку и по рождению. Тут всё происходит в своём тесном, замкнутом кругу, всё шито и крыто, разве уже дело завязалось такого рода, что никаким способом не может уйти от огласки. Случаи, в которых бы австрийская дама аристократического круга сердцем отдалась чужестранцу, столь редки, что не трудно их пересчитать по пальцам, и это австрийским светским красавицам может быть причтено в немалую заслугу, потому что они отнюдь не грешат чёрствым сердцем, ни ледяным темпераментом.

В первое время моего пребывания в Вене только один дом постоянно был открыт для иностранцев. Графиня Елена Эстергази, урождённая Безобразова, племянница бывшего русского посла, балы Татищева, в течение целой зимы каждый вечер принимала всех своих знакомых, истинно дружески относясь к своим соотечественникам. В её доме, как на нейтральной почве, приветливо сходились корифеи австрийского общества с заграничными представителями хорошего тона. Большая, изящно убранная гостиная, открытая до поздней ночи, каждый вечер вмещала человек двадцать привычных посетителей: вперемешку с молодыми и старыми дипломатами, громкими австрийскими именами, пережившими себя любезниками и молодёжью, только что выступившею

на сцену света, тут можно было встретить цвет венских красавиц, имевших право гордиться собой, богатством, молодостью и своею вековой родословной. Кто в Вене не восхищался тогда княгиней Обренович (супругой князя Михаила, двенадцать лет спустя, павшего в Белграде под ударами убийц, сербских партизан Александра Карагеоргиевича), принцессой Мекленбургской, княгиней Гую Виндишгрец, кокетливой графиней Госс, белокурой графиней Эрдеди Оберндорф, обладавшей редким даром, подвигаясь в годах, неизменно сохранять вид цветущей молодости.

Чайным столом в гостиной распоряжалась дочь графини Елены, от первого брака с графом Апраксиным, живая, кокетливая графиня Жюли Батьяни, около которой роилась молодёжь, на лету ловившая её слова и взгляды. Напрасно тогда тратили на неё перлы своей любезности записные фразы и мундирные сердцееды, напрасно рисовались пред ней, жеманно поигрывая часовой цепочкой или молодецки побрякивая шпорами. Жюли оставалась неприступною: вышла она замуж по любви за графа Тури (Артура), и любовь не успела ещё погаснуть в её, многолетним супружеством не утомлённому сердце. Помню, как однажды, вечером, графиня Елена не отказалась меня принять, когда простудой заболевший Батьяни осуждён был лежать в постели. В одном углу обширной спальни сидела графиня Елена за чайным столиком, на другом конце лежал Тури; возле него, не отводя страстных глаз от больного, ухаживая за ним, как за дитятей, красовалась его заботливая супруга. При виде этой трогательной семейной картины, не могло же мне в голову прийти, что подобное супружеское счастье так скоро разлетится в мелкие дребезги. Год спустя, графиня Елена, покинув город на лето и на зиму, поселилась в Ландшице, богатом поместье, оставленном ей покойным мужем, графом Эстергази, в пожизненное владение. Вместе с нею переехали в Ландшиц, лежащий в Венгрии, недалеко от Вены, граф Батьяни с женою и двумя малолетними дочерьми. Однообразная деревенская жизнь, кажется, не пришлась по сердцу ни Батьяни, ни его нервной супруге, привыкшим веселиться по-городскому. Соскучились они, и под напором пожирающей скуки, должно быть, стала потухать их горячая супружеская любовь. От нечего делать, тревожным воображением наделённая, Жюли принялась за перо, написала и напечатала на французском языке роман «Ilona», потерпевший довольно громкое

фиаско. Должно быть, самый язык не отличался должной чистотою, потому что по этому поводу в венском обществе повторялось слово, пущенное бельгийским министром, величественным О'Суливаном. На вопрос какой-то дамы, познакомился ли он с творением талантливой графини, О'Суливан сразил её ответом.

— Pardon, madame, je ne lit pas du francaise.

Литературный труд Жюли Батьяни послужил для неё как бы вступлением на скользкий путь самых разнообразных романических похождений, долгое время служивших пищею светским толкам. В один прекрасный день, покинув детей и мужа, она исчезла из Ландшица, и вместе с нею исчез из Пинта некий очень молодой венгерский кавалер. Куда направили свой полёт оба голубя, осталось глубокой тайной. Матушка и супруг с одной стороны, с другой старший брат, попечитель юноши, кинулись отыскивать странствующую чету, и не без труда отыскивали её в какой-то малоизвестной венской гостинице. Молодого человека брат принудил возвратиться к своим пенатам, она же решительно отказалась вернуться под супружеский кров, в Венгрии поступила на сцену, имела неудачу и после того переехала в Париж. Воображая себя драматической артисткой, в Париже она сделала новую театральную попытку, с первого раза была ошкана, и, не видя другого спасения, с неблагодарных подмостков крутым поворотом перенеслась на почву религиозных убеждений — из православия перешла в лоно католической церкви, чем и поставила себя под покровительство богомольных дам Сен-Жерменского предместья, по имени признававших её равнокровною, а вследствие присоединения к римской церкви очищенную от всех прошедших прегрешений. Тут удалось ей очаровать какого-то испанского кавалера, принадлежавшего к свите в Париже проживавшей королевы Изабеллы. Наученная горьким опытом, сколько неудобств влечёт за собой пренебрежёт светом установленных правил, она решила не принадлежать ему иначе, как под титулом законной сожительницы. Между тем развод в католической церкви дело трудное, почти невозможное, а первый муж, граф Батьяни, ещё жив. Как тут быть? — находчивая графиня не осталась на мели; не вдаваясь в дальние рассуждения, она приняла протестантскую веру, каковым актом её католический первый брак фактически расторгался, и обвенчалась со своим но испанцем-архикатоликом. Таким необыкновенным путём, на

почве самых редких противоположностей, создала она себе новое легальное положение. Совершенно потеряв её из виду, не знаю, после своего испанского брака сподобилось ли ей окончательно пристать к бестревожному берегу обиходной домашней жизни — кажется, имела время перебеситься.

Кто из русских, побывавших в Вене хотя мимоездом, не успел познакомиться с графиней Еленой, не был принят и обласкан ею с истинно русским радушием. Не весьма удачно было её первое замужество; потом судьба ей улыбнулась, наступила для неё полоса блеска и счастья, а старость заключилась горем и домашними заботами. Ежели в её вторичный брак с Эстергази закралась маленькая неправильность, то следовало прежде всего винить обстоятельства, и всякий укор невольно умолкал пред её сердечной добротой и пред нежной заботливостью, с какою она воспитывала своих внуков, дочерей повихнувшейся Жюли, тщательно приберегая для них остатки своего сильно расстроенного состояния.

Говоря о домах, служивших дружеским приютом для русских, неблагодарно было бы умолчать об Александре Александровиче Полянском, венском старожиле, помнившем ещё Татищева, при коем он поступил в посольство. Женившись на австрийской уроженке и похоронив служебную амбицию на камергерском ключе, он с той поры поселился в Вене, не переставая, однако, помнить Россию, любить всё русское и охотно сближаться с русскими, которых судьба ему посылала. Независимый по состоянию и по характеру, вне большого света, мирно доживал он свой век в кругу близкой родни и коротких знакомых. Джентльмен в широком значении слова, Полянский не одною домашнею обстановкою, но и душевным благородством положительно напоминал доброго, благовоспитанного русского барина старого покроя. Познакомились мы скоро после моего приезда и прожили после того долее двадцати лет, до самой его кончины, в самых приятельских отношениях, составляющих одно из моих лучших венских воспоминаний.

III.

Поездка императора и императрицы в Ломбардию. — Придворные обычаи. — Австрийская аристократия. — Приезд жены в Вену. — Жизнь в Поцлейндорфе. — Прусский военный агент Камеке. — Случай в канцелярии генерал-квартирмейстера Гесс. — Натянутые отношения Австрии и Сардинии. — Собrania в гостинице «Штадт Франкфурт». — Мёринг.

Во второй половине ноября император с императрицею, сопровождаемые полным придворным штатом, отправились в Италию, где они продлили своё пребывание до начала марта следующего года. Целью этого путешествия было ласкою восстановить в ломбардо-венецианском населении, происшествиями 1848 года ослабленную, связь его с домом Габсбургов, коего владычество в Италии заметно продолжало колебаться, невзирая на победы Радецкого и на строгие меры, которыми он итальянцев удерживал в границах наружного повиновения. Статный император, особенно же красотою и молодостью блиставшая императрица успели лично произвести обаятельное впечатление на скоро увлекающихся итальянцев, но народной вражды им не удалось превратить в любовь и преданность. Слишком глубоко укоренилась злоба против ненавистных им тедеско-аустриаков в груди поборников итальянской независимости, беспрестанно раздражаемых бестактностью придирчивой австрийской администрации и высокомерным обращением австрийских солдат и офицеров, не знавших меры и предела оскорблениям, которые они ежедневно наносили итальянскому национальному самолюбию. Правду сказать, сами итальянцы в долгу не оставались: крепко-накрепко заперлись в своих домах и, встречаясь на улице, с властным пренебрежением отворачивались от своих немецких недругов. Император Франц-Иосиф, уже начавший прозревать, не смотря на Бахом подготовленный миланские шумные оваии, понял, что в Италии готовятся новые смуты, и его только убаюкивают лживыми уверениями, будто порядок восстановлен на прочном основании, и никто не дерзнёт его нарушить. Своё внутреннее убеждение умел он скрыть от чужого глаза, но что тогда уже в нём возникла мысль о необходимости в скором времени из-за итальянских провинций взяться за оружие, мне открыл нечаянный случай, о чём припомню в своём месте.

Двор находился в отсутствии, а город продолжал веселиться обычным порядком: балы, рауты и обеды шли своим чередом; не доставало только двух или трёх придворных балов, в чём состояла вся разница. Австрийское высшее дворянство, надо сказать, по всем вопросам общественной жизни держит себя очень независимо: твёрдо предано монархическому принципу, благоговеет пред императорским авторитетом, но раболепно не подчиняется указаниям двора, опирая свою самостоятельность на богатую поземельную собственность и на принадлежащие ему вековые права. Помню слова, сказанные мне по этому случаю одним знатным австрийским генералом: «кровью и силами своими жертвую государству, безусловно повинуюсь моему государю, но живу, думаю и чувствую, как велит одна моя собственная совесть». В Вене человек может быть при дворе «*persona gratissima*», не пользуясь в обществе особым отличием, ни каким либо исключительным придворным преимуществом. Установленный этикет положительно противится всякому отступлению от традиционного порядка.

Кроме военных, имеющих право являться ко двору независимо от общих правил придворного этикета, в Австрии одним камергерам, «*Kämmerer*», — камер-юнкеры не существуют, — принадлежать право невозбранно вращаться в придворной сфере. Звание же камергера даётся не по особой монаршей милости и не по министерскому ходатайству за какие-либо заслуги, а по закону принадлежит каждому дворянину, считающему за предками по мужской и женской лиши шестнадцать поколений без примеси мещанской крови. Желаящий воспользоваться сказанным правом представляет свою родословную, обергофмаршальское управление рассматривает документы, составляешь доклад, а императору остаётся только просителя утвердить в его праве. Таким же образом правом бывать при дворе пользуются лица, пожалованные императором в тайные советники «*Geheimräthe*», коим в Австрии только и при надлежать титул превосходительства, не принадлежащей ни генерал-майору, ни фельдмаршал-лейтенанту. Превосходительными называют ещё послов и государственных министров, пока они состоять в должности. Военное звание отнюдь не мешает получить тайного советника, или воспользоваться наследственным правом на камергерский ключ, заменяемый на мундире двумя пуговками на том месте, где ему следует

быть. Как строго держатся всех упомянутых правил, можно усмотреть из двух следующих случаев.

Фельдмаршал князь Виндишгрец, считая себя слишком большим баринoм, чтобы за спиною носить камергерский ключ, никогда не просил включить его в число камергеров, за что на больших придворных балах был лишён преимущества наряду с камергерами и дипломатическим корпусом в танцевальной зале выжидать прихода императорской фамилии, а принуждён был оставаться в аванзале среди военных чинов до появления императора, после чего им дозволялось войти в главную залу.

Другой случай: барон Гондрикс, весьма достаточный моравский помещик, был три раза женат. За его первую женою недоставало двух потребных колен дворянского звания, почему ни она, ни её дочь, в замужестве графиня Маршал, не имели приезда ко двору, дети же графини Маршал считались уже полноправными. По этой причине графиня Маршал сама не могла свою дочь представить императрице и тем открыть ей приезд ко двору, а принуждена была предоставить это дело своей мачехе, третьей супруге барона Гондрикса, имевшей счастье родиться полным числом предков наделённой графиней Митровской.

Не делая никаких выводов, предоставляю каждому дело рассудить по-своему. Думаю, однако, что эти средневековою чопорностью отзывавшиеся постановления также имели свою недурную сторону, заграждая бесплодному мелкому тщеславно с помощью интриги пролагать себе дорогу к придворным почестям. На моей памяти ещё жёны даже министров, не принадлежавших к старому дворянству, не бывали при дворе, открытом их мужьям по праву министерского звания. Только недавно Геймерли заставил сделать отступление от этого правила, положительно отказавшись принять портфель министра иностранных дел, ежели на жену его не будет распространено ему самому принадлежащее право бывать при дворе.

Не всегда, однако, дворец оставался совершенно неприступным для неполноправных дворян и даже для некоторых лиц не дворянского происхождения. В продолжение зимы при дворе давалось несколько балов, делившихся на три категории — «Hofball», «Ball bei Hofe» и «Kammerball». Для балов второй и третьей категории рассылались именные приглашения; «каммербал» отличался от бала «бей-гофе» только тем, что на нём не бывали иностранцы, приглашённые на бал «бей-гофе»;

а на «гофбаль», по печатному объявлению, мог явиться без разбора чина и происхождения каждый, у кого на груди красовался любой австрийский орден.

Обеды и балы занимают в светской жизни, как известно такое важное место, что, говоря о венском обществе, значило бы провиниться пред ним, пропустив упомянуть, кто именно в Вене отличался умением вкусно кормить и веселить со вкусом.

В 1856 году, да и позже, самые блистательные балы, на которых редко двор не присутствовал, бывали у князя Ауерсберга, у маркиза Палавичини, у владетельного князя Лихтенштейна («der Souveräne», как его прозывали для отличия от Шварценберга, носившего название «der Regierende») и у князя Шварценберга, мужа знаменитой княгини Лори (Елеоноры), до конца жизни своей первенствовавшей в венском обществе, не зная равной себе соперницы. Писаная красавица в дни молодости, ещё в моё время замечательно свежая дама, первая по имени и по состоянию, занимала она в Вене совершенно исключительное положение и пользовалась им, нисколько не стесняясь общественным мнением, будучи уверена, что всё ей будет прощено за красоту, за знатное имя и за богатство, которым она ослепляла низкопоклонную толпу. Попасть к ней на вечер, особенно же похвалиться коротким знакомством с её светлостью, считалось верхом благополучия, и не было такой хитрой уловки, на которую бы не подались венские снобы обоего пола, чтобы только вид подать, будто действительно пользуются таким драгоценным преимуществом. Рассказывают, будто известный Кауниц, для удержания за собою славы не совершенно ещё отжившего любезника, по вечерам посылал свою пустую карету несколько часов простоять у подъезда которой-нибудь в чести бывшей певицы или балетистки. Не знаю, следует ли принять это за правду или считать одной пикантной выдумкой, но в мою бытность некоторый честолюбивый венские дамы действительно отправляли по утрам свои экипажи на Мелмаркт постоять часок возле Шварценбергского дома. Пройдёт знакомый, узнает экипаж, подумает — счастливая, проводить утро у княгини Лори — расскажет в городе; соперницы станут глядеть на неё с завистью и даже с некоторым уважением; её светское положение установится на хорошем основании. Говорят, княгиня была очень умна — ничего не могу сказать об этом, не имея чести состоять с княгиней Лори на короткой ноге, однако должно

быть справедливо, потому что она так верно понимала свет, и людские пересуды не ценила выше того, чего стоит всякая праздная болтовня. Велика беда, что за глаза будут хаять и бранить; в глаза те же людишки ни в каком разе не перестанут низко кланяться и сладко улыбаться; стоит ли после того бояться суда их?

Более приятное впечатление производила на меня её сестра, княгиня Леопольдина Лобкович, не блиставшая, подобно княгине Лори, ни красотой, ни богатой домашней обстановкой, но привлекавшая общее расположение своею нечванною, всегда ровною любезностью.

Вечера, балы и обеды у графа Буля и у обер-гофмейстера князя Карла Лихтенштейна имели для иностранных миссий чисто официальный характер. Любезнее и внимательнее князя Карла не было человека при дворе и в обществе; равнялся ему в этом ещё обергофмаршал граф Куфштейн, за что оба они слыли двумя самыми вежливыми грансиньорами в целой Австрии. Князь Лихтенштейн пользовался редкою популярностью во всех слоях венского населения: в Вене, полагаю, не было торговки, ни торгаша, которые бы его не знали, пред ним не приседали и не снимали шапки. Высокий, красивый, далеко за семьдесят лет переступивший князь Карл, в одном уланском мундирчике своём, какая бы ни была погода, ежедневно лёгкою походкой измерял дорогу из города в Пратер и пешком возвращался в Шенксиштрассе, на свою квартиру²¹. В известный час до того привыкли его видеть на пути в Пратер, что в 1865 году; когда в продолжение двух дней никому не удалось встретить его на Грабене и в Егерцейле, все в городе заговорили: вот уже второй день князя Карла не видать, значить плохо ему пришлось! И действительно 7 апреля отдал он Богу свою благородную, ни в каком дурном деле неповинную душу, и я потом имел прискорбие присутствовать на погребении его.

В то время ещё одна выдающаяся личность занимала в венском обществе очень видное место: то был фельдмаршал князь Виндишгрец. Участие, которое он в революционные годы принимал в усмирении Праги и Вены, и его неудачный венгерский поход пользуются гласностью, избавляющею меня от повторения фактов, слишком хорошо известных всей читающей публике. Постараюсь очертить его личность. Наружностью князь не отличался: меньше среднего роста, неподвижным

²¹ Около 7 вёрст.

взглядом, как бы застывшими чертами бледного лица и важною поступью напоминал он поразительным образом донжуановского командора, с которым, бывало, его сравнивали, когда он, с точностью часовой стрелки, ровно в полночь, тихо появлялся на пороге какой либо гостиной. Тогда присутствующее подымались, как по сигналу, почтительно встретить человека, которого вся австрийская аристократия признавала своим настоящим избавителем от революции и самым упорным защитником древних дворянских привилегий, за что в обществе и не переставали его чествовать всеми мерами, не смотря на потерянное им благоволение двора. Отличительный качества его — не всегда обдуманная решимость и непреодолимое упрямство, при чувствительном недостатке дальновидности, позволяли ему действовать с пользою только под руководством чужой, более осмотрительной воли. Политическим смыслом он не был одарён, и во время своей военной диктатуры 1848 года наделал немало ошибок, нравственно повредивших Австрии в глазах германского народа, чем и было положено первое основание к будущему возвышению Пруссии. Князь Шварценберг верно понял хорошие и дурные стороны его ума и характера, воспользовался им в час опасности, когда требовалось рубить с плеча, а когда наступил желанный порядок, тотчас отнял у него всякое влияние на государственные дела. В поговорку обратившаяся гордость князя Виндишгреца, резко высказанная ответом, который он во время венского конгресса дал нашему великому князю Константину Павловичу на его саркастическое замечание: *«il paraît, mon prince, que vous faites le grand seigneur?»* — *«je n'ai pas besoin de le faire, je le suis!»* — имела однако и свою недурную сторону. Ни на волос не отступая от истинно благородного правила — *«noblesse oblige»*, первую обязанностью чистокровного дворянина Виндишгрец признавал сбережение честного имени, перешедшего к нему от предков. Деньги в глазах Виндигпгреца имели меньшую цену: всей Вент было известно, какие сильные потери он понёс на бумагах австрийского кредитного банка только потому, что отказался их продать, когда банк стал колебаться, объявив, что, на его взгляд, дворянину неприлично вдаваться в биржевые спекуляции, которыми позволено обогащать себя одним жидом и лавочникам. К русским Виндишгрец питал непритворное расположение, вследствие чего я имел удовольствие

пользоваться его ласковым вниманием и часто бывать у него по самую его кончину.

Наступила весна. Из России приехала жена с нашею воспитанницею, Александрю Тизенгаузен — собственных детей мы не имели. С той поры зажил я в Вене семейною жизнью, без которой принуждён был обходиться в продолжение зимы, не успев отыскать удобной квартиры. На лето поселились мы в Поцлейнсдорфе, небольшом местечке у подножья Винервальда, полчасы езды от города, во флигеле замка, принадлежавшего некоему барону Левенталю. Вена богата красивыми окрестностями, и Поцлейнсдорф, бесспорно, принадлежит к числу самых заманчивых летних убежищ. Холмистая лесная местность, окружавшая замок, открывала по всем направлениям множество тенистых прогулок. Примыкавший к нему обширный парк, расстилавшийся по западному скату невысокого гребня, отделявшего нас от Вены, в полной мере доставлял нам, чего лучше нельзя требовать для деревенской жизни — прохладу, тишину и уединение. Если подняться на высоту, которою заканчивался парк, под ногами открывался город, как на ладони — вид был ненаглядно живописен. Близость города в то же время давала возможность бывать в нём каждое утро, к обеду возвращаясь в Поцлейнсдорф. Тут я короче сошёлся с Камеке, моим прусским коллегой, который почти ежедневно к нам приезжал или приходил пешком — дорога из города, пролегая между двумя непрерывными рядами садов и загородных домиков по широкому шоссе, окаймлённому высокими каштановыми деревьями, служила очень приятной прогулкой. В летние дни, с утра до поздней ночи, пестрела по шоссе толпа гуляющих, и каждые полчаса трусили в оба конца громоздкие жёлтые омнибусы; усталому было куда присесть и покойно доехать до места.

Знакомство с Камеке навсегда оставило во мне самое приятное воспоминание. Человек тонкого ума, отличный офицер, приятный товарищ, умел он делать всякое дело ровно шутя: наблюдать незаметно и писать коротко, отнюдь не больше, чем требовала действительная польза, никогда не придавая своей деятельности тот вид таинственной озабоченности, которою святая посредственность обыкновенно маскирует своё пустоделие. Всегда доставало у него довольно времени на дело и на развлечение. Исходили мы с ним все поцлейнсдорфские окрестности, излазили все горы и много о чём откровенно переговаривали. Приятно даже было иногда

поспорить с ним, потому что при его уме и образовании никакой спор не мог перейти за пределы приятельского размена мыслей. Глубокий прусский патриот по чувству, ясно понимал он рассудком, что, принадлежа к разным народностям, мы могли служить противоположным интересам, диаметрально расходиться в политических мыслях, нисколько, однако, не расходясь в понятиях о чести и долге, чего больше не позволено требовать ни от противника, ни от приятеля. Наше положение в Австрии, сносное по наружности, в сущности же малосимпатичное военным властям, мало чем отличалось. На него и на меня глядели одинаково подозрительно; одинаково затрудняли нам пристально заглянуть в глубину военных реформ и военных приготовлений, дело понятное: России Австрия опасалась, Пруссии она прямо боялась, а Россия и Пруссия не доверяли Австрии и бдительно следили за всем, что в ней совершалось по военной части. Поэтому нам обоим приходилось вести себя очень осторожно; чтобы не возбудить подозрения в неуместном рвении узнавать так называемые военные секреты, которые, впрочем, как ни старайся, для знающего дело, да ещё при свободе печати, почти никогда не остаются неразгаданными тайнами.

По этому поводу припомню случай, совершенно негаданно открывши мне весьма любопытное дело.

В начале 1857 года, когда австрийский двор ещё находился в Милане, в Вену приехал молодой офицер, отправленный нашим министерством изучать военную администрацию в разных европейских государствах. Поехал я его представлять местным военным властям, в том числе генерал-квартирмейстеру, барону Гессу, имевшему в Бурге свою канцелярию. В большой комнате, примыкавшей к генеральскому кабинету, сидело за работой несколько офицеров генерального штаба; в стороне находился стол, на котором была разложена карта Австрийской империи, утыканная разноцветными булавками: сильная группа в Ломбардии, две группы, поменьше, в Галиции и в дунайской долине. Зная, как мне следовало себя держать в моём положении, сразу поняв дело, я отошёл в противоположную сторону, будто ничего не заметил. Молодой товарищ мой, прежде чем мне удалось его остановить, напротив того метнулся к столу, на котором лежала карта, с вопросом: что это? — дислокация? Тогда адъютант Гесса, ни слова не отвечая, смешал булавки, схватил карту и понёс её в генеральский кабинет.

Размещение булавок, а больше ещё досадливый приём, которым адъютант ответил на заданный ему, юношески невинный вопрос, привели меня к заключению, что в Италии готовятся осложнения, обращающие на себя серьёзное внимание австрийского правительства.

При первом свидании сообщил я нашему посланнику, барону Будбергу, мои мысли касательно этого предмета, прибавив, что, по моему убеждению, в Италии готовится новая война, не берусь сказать — по почину Австрии или Сардинии, знаю только, что в таком случае не рассчитывают на безусловную нейтральность со стороны Франции — слишком густа показалась мне группа булавок против одной Сардинии, да и другая группа не даром же была помещена в дунайской долине.

Барон Будберг верить не хотел.

— Вы придаёте делу слишком важное значение, — заметил он: — что вы видели, могло быть одним офицерским научным упражнением.

— Офицеры упражняются в военной школе и в отделениях генерального штаба. В собственной канцелярии генерал-квартирмейстера теорией не занимаются, а применяют её на практике. На мой взгляд, дело стоит внимания; я предвижу войну.

Барон махнул рукой.

— Point d'éventualité! personne n'a de l'argent, personne ne desire la guerre.

Пред авторитетом такого опытного дипломата, каким признавался Будберг, мне только оставалось смолкнуть; от своего, мнения, однако, я не отрёкся, и тут же задумал на другой год побывать в Италии, оглядеться на месте.

В некоторое оправдание моего мнения скоро после того стали проявляться первые симптомы нового разлада венского с туринским двором. Оскорбительные выходки сардинской прессы против австрийского правительства и против самого императора, убежище, которым ломбардо-венецианские эмигранты пользовались в Пьемонте, исходившие отсюда подстрекательства к общему восстанию итальянского народа против чужестранного господства, служили поводом распри, дошедшей наконец до прекращения дипломатических сношений между двумя державами, издавна боровшимися одна — установить, другая сбросить своё преобладание на Апеннинском полуострове. В конце марта из Турина был отозван австрийский посланник, князь Паар, и вслед затем покинул Вену

сардинский посланник, маркиз Кантон ди Чева. Около того же времени престарелый девяностолетний фельдмаршал, граф Радецкий, был уволен от своего поста; эрцгерцог Фердинанд Максимилиан назначен генерал-губернатором ломбардо-венецианского королевства, а главное начальство над войсками в Италии поручено фельдцейхмейстеру графу Гиулау.

В конце 1868 года Камеке оставил Вену. В франко-германскую войну 1870 года показал он себя не только, хорошим теоретиком, но и дельным боевым генералом, и скоро после того занял место германского военного министра. После долгих лет встретились мы потом в Берлине, и я, к моему удовольствию, увидел пред собою, без всякой перемены, того же непритязательно-любезного Камеке, каким знал его в дни молодости. Истинно порядочный человек не меняется, как высоко бы ни пошёл: военный министр глядел отнюдь не важнее бывшего инженерного майора Камеке.

Прошло лето, вернулись мы в город, где не без труда мне удалось отыскать квартиру на Фрейунг, в доме графа Гардека, на неизмеримой высоте третьего этажа. В то время недостаток наёмных квартир в Вене доходил до того, что позволялось рассчитывать на одни смертные случаи для захвата чуть сносного помещения. Вена, можно сказать, хронически страдает недугом недостачи наёмных квартир; даже в позднейшее время, когда город распространился, это затруднение мало уменьшилось. Население постоянно умножается в прогрессии, превышающей постройку новых домов; особенно велик прилив еврейского элемента со времени в 1861 году состоявшейся полной эмансипации евреев. Эти обстоятельства принудили наконец срыть старые, город стеснявшие, бастионы и покрыть гласисы постройками, придавшими Вене её настоящий красивый вид.

Зима 1858 года протекла в непрерывных увеселениях; танцевали без усталости. Большой ежегодный придворный бал ознаменовался нововведением: по инициативе нашего министра, барона Будберга, было отменено правило, не допускавшее ко двору посольских секретарей; в этом году в первый раз они и их жёны были представлены императору и императрице.

Число моих знакомых военного звания увеличивалось с каждым днём. Кроме встреч на вечерах и на званых обедах, да на маневрах, на которые меня приглашали в качестве военного агента, всего чаще сходил я с австрийскими офицерами и генералами в гостинице «Штадт Франкфурт»,

куда они преимущественно ходили обедать и завтракать. Гостиница эта, существовавшая более ста пятидесяти лет, сперва под вывеской «Золотого быка», потом под её настоящим именем, отличалась хорошим столом, а более ещё избранным обществом, которое ежедневно в ней собиралось. Две, весьма небольшие, обеденными столами тесно уставленные, комнаты, в которых не запрещалось курить, несмотря на густой табачный дым, частёхонько видели в своих стенах посетительниц высшего круга, приходивших туда обедать, зная, что будут окружены одними людьми своего общества. Самая чопорная барыня, которая ни за что не пошла бы в другую гостиницу без провожатого, не задумываясь, одна отправлялась в «Штадт Франкфурт». Так было принято, и никому в голову не приходило считать это неприличным.

В глубине первой комнаты стоял большой круглый стол, приборов на двенадцать, исключительно принадлежавший гостям высшего полёта. Тут, случалось, разом сживали по три фельдмаршала — Гесс, Вратислав, Шварценберг, несколько министров и высших генералов. Некоторые из них по двадцати лет и более занимали одни и те же места, как бы обратившиеся в их законную собственность. Чьё либо место останется пустым в урочный час без известной причины, значить владелец его слёг в постель, или, пожалуй, уже успел переселиться в лучший мир. К числу таких особым постоянством отличавшихся завсегдатаев круглого стола принадлежали восьмидесятилетний граф Фукс, племянник графини Фукс, во время венского конгресса собиравшей в своих салонах высоких и высочайших его сочленов, и краснолицый, как лунь белый, толстяк, фельдцейхмейстер барон Рейтах, до старости лет не изменявший своему призванию верою и правдой служить прекрасному полу. Под конец жизни Рейтах до того отяжелел и расслаб, что принуждены были его под руки приводить в «Штадт Франкфурт», опускать на стул и таким же порядком уводить, но от круглого стола он и не думал отставать. В один день его не стало на своём месте — Рейтах лежал на столе в своём доме. К круглому столу никто посторонних не садился без приглашения со стороны его обычных застольников. Благодаря благоволению ко мне некоторых военных господ, мне удалось со временем завоевать право садиться за этот стол, когда оказывался лишний прибор. Занять же место одного из коренных гостей причли бы мне и каждому другому непростительным нарушением самой обыкновенной вежливости.

Владелец гостиницы, некий Штипбергер, принадлежали к числу замечательных венских личностей. Честным трудом заработал он состояние, считавшееся сотнями тысяч, причём, лично наблюдая за добрым порядком, не гнушался собственноручно гостю подать порцию, переменить тарелку, и самые гордые посетители заведения, уважая старика, не отказывались пожать его честную руку. Штипбергер служил точным типом отжившего ныне поколения готельеров старого покроя.

Равным преимуществом пользовалась в глазах венского общества кондитерская Демеля, помещавшаяся против Бург-театра в невероятно тесной продолговатой комнате, буфетом разделённой на две половины. За крошечными столиками, при самом входе с улицы, венские высокородные дамы благоволительно вкушали шоколад и мороженое, нисколько не стесняясь толкотнёю от взад и вперёд шнырявших лакеев, кухарок и комиссионеров. Заходить в другие кондитерские, не смотря на их богато убранные салоны, не соответствовало хорошему тону, и все они продолжали тесниться у Демеля только потому, что так было принято.

Говоря о моих приятелях, принадлежавших в австрийской армии, не могу не посвятить несколько строк памяти Мёринга, самого умного и талантливого австрийца, какого мне только случилось знать. Говорил и писал он равно свободно, не исключая славянских наречий, на всех главных европейских языках; при осаде Венеции, в 1849 году, на деле доказал свои военные способности, а свою политическую прозорливость в 1847 году написанною брошюрою — «Sibyllinische Büsher», в которой предсказал скоро после того всю Германию возмущившую революцию. Не дальше, как за два дня до падения Меттерниха, он выпросил у него аудиенцию, на которой напрасно старался обратить его внимание на близкую опасность.

— Без причины тревожитесь, господин капитан, — отвечал ему государственный муж на все его доводы, — никогда мы так крепко не держали власти в руках, как в настоящую минуту; поэтому спите спокойно, не опасаясь ни за себя, ни за нас.

Двое суток спустя дальновидный Меттерних ночью уходил из Вены, чтобы, потеряв силу и власть, не потерять ещё чего другого.

Потом, по выбору венских бюргеров, капитан Мёринг заседал во франкфуртском парламенте, чего военное начальство долгое время не хотело ему простить; двери дворца затворились пред ним, и его стали

обходить в производстве. В начале нашего знакомства состоял он в чине подполковника и всё ещё находился в полной немилости. С первого раза мы с ним сошлись и после того, несмотря ни на какие обстоятельства, более двенадцати лёг прожили на самой приятельской ноге.

В начале 1866 года, пред прусской войной, Мёринг понадобился: сперва послали его составить проект обороны берегов Далмации; потом дали ему бригаду в итальянской армии, где он под Кустоцой удачную атакой прорвал сардинскую боевую линию, за что и получил орден Марии-Терезии. После того Мёринг быстро пошёл в гору, был произведён в фельдмаршал-лейтенанты, одно время командовал войсками в Галиции, потом управлял триестским генерал-губернаторством, и наконец по причине болезни был принуждён отказаться от активной службы.

За неделю до его кончины, весной 1869 года, я долго ещё просидел у его постели. Заговорили мы между прочим о Франции, где генерал Лебеф был тогда назначен военным министром. Едва переводя дыхание, — Мёринг страдал грудною болезнью, — предсказал он, чего Франции следовало ожидать от такого назначения.

— Lebeuf ministre de la guerre! C'est le malheur de la France. Je le connais, deux mois je l'ai vu tous les jours, chargé de remettre entre ses mains le matériel de l'arsenal de Venise; c'est une buse c'est une buse, il fera le malheur de la France, — повторить он раза два.

Мёринг был происхождения не дворянского; старший брат его владел шёлковой фабрикой в одном из венских предместий. По статусу ордена Марии-Терезии, он имел право на баронский титул, следовало только подать просьбу, чего, однако, сделать не хотел, отозвавшись, что бюргер Мёринг пользуется некоторой известностью в армии и даже в аристократической сфере, а новоиспечённый барон Мёринг новичком поступить в круг старородных дворян, почему и предпочитает умереть тем, чем родился.

Со смертью его австрийская армия лишилась одного из своих способнейших генералов.

IV.

Поездка моя в Италию. — Венеция. — Живописец Нерли и его жена. — Граф Гиулай. — Эрцгерцог Максимилиан. — Рождение наследного принца Рудольфа. — Перед войной. — Война Австрии с Сардинией и Францией. — Неудачи австрийцев. — Дисциплина в австрийских войсках. — Приезд мой в действующую армию. — Эрцгерцог Райнер. — Свидание с генералами Шликом и Бенедekom. — Представление императору. — Сражение при Сольферино. — Жизнь в Вероне. — Перемирие. — Приезд в главную квартиру принца Наполеона. — Заключение мира.

В конце апреля 1868 года поехал я в северную Италию до Триеста по железной дороге, а из Триеста в Венецию на пароходе. Тут представился мне случай увидеть две вещи, которыми действительно стоит полюбоваться: живописный, изумительно смело чрез Земеринг перекинутый рельсовый путь и вид Венеции со стороны моря. Хорош Петербург, как бы вырастающий из воды по мере приближения к нему от устья Невы; широко раскинувшись, поражает он величиною громоздких зданий; Венеция же приковывает взгляд ей одной свойственным видом плотного ряда на подбор щеголевато-отделанных, морем отовсюду окружённых, построек. Благодаря этому, в Венеции не знают пыли, и не слышно стука колёс по звонкой мостовой; одни гондолы, быстро скользя по каналам, лёгким всплеском одиночного весла нарушают общую тишину. Вода подходит к самому подножию домов, и с подъезда вступают прямо в гондолу. Кроме водяного пути, существуют, впрочем, и другие сообщения. Пробираясь узенькими кале чрез разные кампо и сушь, можно пройти из конца в конец города, и нередко отправлялся я этим путём отыскивать образчики старинной архитектуры, прячущиеся по разным, малоизвестным закоулкам. Кроме всему свету известных, сто раз описанных, церквей, палаццо, картинных галерей и исторических памятников, в Венеции нет такого заброшенного уголка, в котором бы не красовался какой-нибудь любопытный остаток старины — портик, статуя, барельеф, кованная решётка, могущие занять не последнее место в любом музее.

Богатая жатва для фланёра, одарённого хоть малою долею любви к искусству.

Два месяца прожили мы в Венеции (путешествовал я с семейством) на наёмной квартире в палаццо Дарио, близ церкви Мария-дель-Салуто, имея ещё удовольствие пользоваться к дому принадлежавшим садиком — в Венеции большая редкость — душистым, тенистым, зелёным уголком, среди безмерного избытка камня и воды. С балкона, висевшего над водой, виден был канал Гранде на большое протяжение, весь день мелькали по его мутным струям гондолы, усаженные нарядными дамами и венецианскими щёголями; по вечерам редкая гондола проходила мимо нас без музыки. Венецианская жизнь в летние жары, надо сказать, разыгрывается, как по нотам. Каждый день та же тема, без всякой вариации: поутру морское купанье, завтрак, для туриста обязательное странствование по церквям и музеям, потом продолжительная сиита при затворённых ставнях, поздний обед, прогулка по каналу Гранде до Риальто, или на взморье, в Лидо и в Мурано, и конец дня на Пиаце, когда не было оперы. На Пиаце ежедневно собиралась по вечерам вся венецианская публика слушать австрийскую военную музыку, пить кофе и есть мороженое. Тут, на открытом воздухе, от столика к столику, принимались и оплачивались визиты. На дому в Венеции редко кто принимает гостей; домашний приём заменяется приглашением за одним столом послушать на Пиаце музыку и принять обычное летнее угощение лимонадом и мороженым.

Благодаря моему приятелю, Мёрингу, снабдившему меня рекомендательным письмом, мне удалось познакомиться в Венеции с немецким живописцем Нерли, известным своими прекрасными венецианскими видами. Жена его, рождённая маркиза Маруци, родная сестра нашей графини Сумароковой, слыла одною из красивейших и любезнейших венецианок, и, сколько могу судить, совершенно оправдывала эту лестную репутацию. Сам Нерли, умный и образованный человек, в любезности мало уступал своей привлекательной супруге, что и побудило нас короче сойтись с этими приятными людьми. Других знакомств мы в Венеции не заводили; оберегая свою независимость, избегал я даже без особой нужды сталкиваться с австрийскими властями, но по своему официальному положению не мог избежать явиться к графу Гиулау, когда он приехал в Венецию инспектировать подчинённый ему войска. Я даже рад был случаю увидеть генерала, на которого Австрия возлагала свои надежды, если придётся вспыхнуть войне, о которой уже все стали поговаривать. Граф Гиулай сделал мне честь пробеседовать со

мной довольно долго о разных военных предметах, и не весьма высокое понятие о его военном таланте вынес я из этой беседы. Узнал я в нём, говоря без обиняков, не генерала, а мелочного фельдфебеля, человека ума посредственного, гордого и крутого, и тут же позволил себе сделать заключение, что он решительно не в силах заменить Радецкого, и австрийцев в Италии ожидают верные неудачи, если, на случай войны, начальство над войсками не перейдёт в другие, более способные руки. А что этого не будет, в том ручалась его тесная дружба с графом Грюйне, пользовавшимся в то время неограниченным доверием императора Франца-Иосифа — значит, судьба войны заранее была решена.

Ив Венеции переехали мы на Комское озеро, где пробыли два месяца, поселившись в вилле д'Эсте, возле Чернобии. Тут представилась мне совершенно другая картина. Вместо вспыльчивого, крикливого, но довольно мягкого венецианского населения, пассивно переносившего австрийское господство, увидел я пред собой твёрдохарактерных ломбардцев, дышавших ненавистью против всего немецкого. Хозяин виллы, восьмидесятилетний барон Чiani, когда-то носивший звание шталмейстера при дворе Наполеона I, не смотря на свои лета и на параличом разбитые ноги, при одном имени австрийском вспыхивал, как молодой человек. В первое время он видимо чуждался меня, но потом, разведав, что, кроме моего официального положения, у меня нет ничего общего с австрийцами, стал часто сходить к мне и откровенно мне высказывать всё, что у него лежало на душе. От него я узнал положительным образом, что Пиемонт, заручившись поддержкою со стороны Луи-Наполеона, совершенно готов на другой же год начать войну. Старик только и мечтал прежде смерти увидеть Италию освобождённую от немецкого господства, и действительно имел радость пережить присоединение Ломбардам к Сардинскому королевству, послужившее первым этапом к объединению всей Италии.

На обратном пути в Вену остановился я в Венеции на несколько дней и попал туда в весьма удачную минуту. Эрцгерцог Фердинанд-Максимилиан находился в городе с супругой, эрцгерцогиней Шарлоттой, и гостившим у них братом её, графом Фландрским. Явившись к эрцгерцогу, на другой день я получил приглашение к обеду, на котором, кроме меня, ещё присутствовали эрцгерцогский гофмейстер и фрейлина эрцгерцогини, детски-миловидная графиня Кривелли. Оживлённый

разговор не прекращался в продолжение всего обеда. Поэтически-настроенный эрцгерцог остроумно переводил его от одного предмета к другому; эрцгерцогиня поддерживала разговор, любезно обращаясь ко всем присутствующим. Умом светились её блестящие чёрные глаза, приветливая улыбка играла на устах, и в ту пору кому из сидевших за столом даже мог пригрезиться несчастный конец, который злая судьба готовила им обоим?

Вечером того же дня мне привелось быть свидетелем зрелища, какое не каждому туристу удавалось видеть в Венеции. Эрцгерцог в честь своего зятя устроил вечернюю прогулку (*Fresca*) по каналу Гранде при блистательном освещении. Впереди плыла большая парадная гондола, построенная по образцу Буцентавра, на которой помещались певцы из Фениче и хор австрийских военных музыкантов. За ней тянулись бесконечной нитью гондолы, увешенные цветными фонарями, в которых помещалась разряженная публика. По всему протяжению канала, с обеих сторон процессия освещалась бенгальскими огнями; множество ракет бороздило воздух, лопааясь и рассыпаясь яркоцветными звёздами над головами пловцов. Под сводом Риальто музыка остановилась, проиграла несколько пьес, на которые отвечало эхо, свойственное этому мосту, после чего блистательное шествие тем же порядком вернулось ко дворцу, против Доганы.

Не успел я вернуться в Вену, как совершился факт, которого, что ни говори, вся Австрия желала не менее самого императора. Двадцать первого августа родился наследник престола, эрцгерцог Рудольф. Во время беременности императрицы сильно всех занимал вопрос, разрешится ли она принцем, или принцессой, как было уже два раза. В газетах было напечатано, что рождение принца объявится публике сто одним, рождение принцессы — тридцатью тремя пушечными выстрелами. На рассвете раздались первые выстрелы; дальше тридцати четвёртого считать не стоило — вопрос был решён.

По поводу этих пушечных выстрелов скоро после того разнёсся по городу анекдот, на этот раз клеймивший лишь бюргерское простодушие. Венский простонародный юмор, не пропускающей без остроты ни одного интересного случая, надо заметить, обыкновенно высказывается в табачной атмосфере кофейных и пивных, за кружкой пива. В те дни общего неудовольствия чаще всего острили насчёт правительства, нimalo не

стесняясь, при удобном случае, поглумиться над самим императором. Некоторые выдумки были до того тупоумны, что не стоить вспоминать о них, но случалось, посреди пошлых острот и глупых выдумок, появлялось иногда очень меткое словцо. Напрасно полиция ловила остряков, напрасно предавали их суду за оскорбление величия, — венские бюргеры продолжали острить и придумывать смешные анекдоты насчёт императора и других членов императорской фамилии, нередко просиживая за таким удовольствием долгие месяцы под замком, на хлебе и на воде.

Рассказывали, будто в ту минуту, когда началась пальба, весёлая компания выходила из какого-то биргауза. Пивными парами отуманенные собеседники ревностно принялись считать выстрелы, мешая один другому, теряли счёт, спутавшись, начинали снова считать — и не досчитали дальше тридцати выстрелов. В недоумении переглянулись они: как дело понять? — трёх выстрелов недоставало до принцессы.

В ужасе вскрикнул один из них: *Ioseph und Maria, nicht a mahl an Madel!*

Гораздо позже, когда в 1860 году последовало открытие памятника эрцгерцогу Карлу, было пущено в обращение очень меткое замечание. В Вене имелось до того два видных памятника: Иосиф II на шагающем коне, Франц I, стоя, протянутою рукой посылающий благословение прохожим. Памятник Карла представлял эрцгерцога на коне, порывающемся дать прыжок. Заметили, что эти три памятника как нельзя точнее выражают положение, в котором Австрия обреталась в знаменуемые ими эпохи. *Gleich den drei Monumenten, —* сказывали, *— war zu Zeiten Iosephs die Monarchie im Vorschritten; zu Zeiten Franzens stand sie still, und jetzt ist sie auf dem Sprunge.*

В 1860 году монархия действительно готовилась от абсолютизма перескочить на почву конституционной формы правления.

Слова, которыми Луи-Наполеон в день нового года поздравил австрийского посла, барона Гюбнера, ясно выразили, чего в Австрии следовало от него ожидать по поводу итальянских дел. Нелегко понять, с какой стати ему вздумалось разразиться таким ранним намёком: разве только с целью дать ей время одуматься, прежде чем дело дойдёт до войны. Австрия ответила умножением войск в Италии в доказательство, что она не располагает идти на уступки. Труднее ещё было понять, на какие шансы рассчитывала Австрия, вызывая на бой соединённые силы Сардинии

и Франции. Итальянцев австрийские войска привыкли бить при каждой встрече, но с французами, со времени наполеоновских войн, не имели случая померить свои силы, следственно оставалось неизвестным, на чьей стороне находится боевое превосходство. В вооружении французская армия опередила австрийскую: ружья Минье были лучше австрийских, французская артиллерия пользовалась нарезными орудиями системы Лагита, стрелявшими вдвое дальше гладкоствольных австрийских пушек; кроме того, в Австрии должны были знать, что французы в рассыпном строю, которому так много способствовала перерезанная итальянская местность, превосходить её собственную пехоту, обученную действовать преимущественно густыми колоннами. Союзниками Австрии никого не имела; Англия находилась в союзе с Францией и сильно сочувствовала освобождению Италии. Пруссия, помня Ольмиц, нисколько не располагала содействовать умножению австрийского могущества. Россия, со времени восточной войны, имела полное право чуждаться Австрии; один германский союз рванулся было поддержать её вооружённою рукою, но Россия и Англия не замедлили укротить его патриотический пыл, напомнив союзу, что он имеет одно чисто оборонительное значение, и они, в случае его вмешательства, сами принуждены будут выйти из своего нейтрального положения.

До половины апреля 1859 года перекидывались нотами, и делались военные приготовления в Австрии, Сардинии и Франции; для оправдания себя перед Европой каждая старалась вынудить противную сторону сделать первый шаг к нарушению мира. Под конец Австрия не выдержала, 23-го апреля послала Сардинии ультиматум, который туринским двором, разумеется, был отвергнут, после чего австрийские войска в числе 180.000 перешли пиемонтскую границу. Четвёртого мая Франция объявила Австрии войну и стала в Италии отправлять войска с двух сторон — морем через Геную и сухим путём через Монт-Сенис.

Граф Гиулай (не ошибся я в нём), вместо того, чтобы идти на Турин, не теряя времени, разбить слабую Сардинскую армию и стать между французами, шедшими с двух противных сторон, погряз в Ломелине и дал соединиться разрозненным неприятельским силам, после чего, потеряв сражение под Маджентой, принуждён был, не останавливаясь, отступить за Минчио.

Император Франц-Иосиф, решившийся, в виду такого неудачного хода кампании, лично принять главное начальство над армией, тем временем отправился в Италию и 17-го июня вступил в командование, которое, однако, в конце месяца передал фельдцейхмейстеру барону Гессу, сам испытав под Сольферино решительную неудачу.

Английский и прусский военные агенты уже с самого начала кампании находились в главной квартире графа Гиулая; обо мне длилась ещё дипломатическая переписка. 18-го июня, наш посланник, Виктор Петрович Балабин, заменивший в Вене барона Будберга, наконец сообщил мне, что император Франц-Иосиф изъявил согласие на мой приезд в главную квартиру действующей армии. Походные приготовления задержали меня в городе около восьми дней; 26-го был я готов отправиться. Откланиваясь эрцгерцогу Альбрехту, за отсутствием императора занимавшему в Вене должность правителя и начальника войск, остававшихся внутри империи, я имел случай услышать из уст его совершенно беспристрастную оценку военных операций на итальянском театре войны. Говорил эрцгерцог о делах со свойственной ему прямою, не скрывая ошибок, давших кампании столь дурной оборот, и, рассчитывая на мою скромность, коснулся даже будущих военных действий. В Вене уже несколько дней поговаривали о намерении императора, переправившись через Минчио, атаковать неприятельскую армию; откуда об этом узнали, сказать не могу. На моё замечание, что я вследствие этого слуха, буде он справедлив, боюсь опоздать к делу, и мне после того трудно будет догнать главную квартиру, эрцгерцог возразил, что подобного рода предположение действительно существует, но что, по его мнению, император не сделает неосторожности двинуться из Вероны до прибытия корпуса графа Туна, через Тироль идущего на подкрепление действующей армии, что поэтому столкновение не может произойти раньше первых чисел июля, и я нимало не рискую опоздать. Рассуждал эрцгерцог весьма основательно; численностью в ту минуту австрийцы почти равнялись франко-сардам, корпус Туна сулил сорока тысячами увеличить силу австрийской армии; но расчёты эрцгерцога Альбрехта не сбылись: император, не дождавшись Туна, перешёл через Минчио, 24-го июня столкнулся с неприятелем и под Сольферино потерпел решительное поражение. На другой же день разнеслось по городу известие об этом несчастном деле; венские жители сильно приуныли; военные же, как я мог заметить, духом не упали, зато

злбно налегли на императорских советников, которым приписывали всю вину неудачи. После Гиулая всех хуже доставалось императорскому любимцу, графу Грюнне, ездоку, знатоку в лошадях, но только не в военном деле.

Путь мой до Набрeзины лежал по триестской железной дороге; отсюда до Казарзы, по недостроенному промежутку, приходилось мне ехать на обывательской подводе: за Казарзой вплоть до Вероны снова тянулась рельсовая дорога. Переезд от Вены до Набрeзины прошёл для меня весьма занимательно. Вагоны были переполнены военными всякого чина и звания; посреди их князь Ричард Метерних с супругой и ещё две дамы, одна постарше, другая помоложе — маменькой сопровождаемая второстепенная пианистка Констанция Гейер — особа не весьма привлекательной наружности, что ей, впрочем, ничуть не помешало, несколько лёг спустя, сделаться законной супругой принца Леопольда Кобургского, с титулом баронессы Рутгенштейн. Княгиня Меттерних, хотя также далеко не красавица, но тогда была ещё молода и блистала умом, который, к сожалению, с летами принял слишком жёлчное направление. При тогдашних обстоятельствах присутствие этих дам имело уже ту выгоду, что отвлекало разговор от политики и от военных дел, которые наконец всем приелись до тошноты.

Окрестности казарзской железнодорожной станции нашёл я загромождёнными провиантом, порохом, орудиями и снарядами, которых не успевали грузить и отправлять по назначению, хотя ежедневно от Казарзы до Вероны перевозилось более 14,000 центнеров военных тяжестей. С самого начала кампании австрийское военное ведомство сделало важную ошибку: вместо того, чтобы провиант и прочие громоздкие тяжести морем везти из Триеста в Венецию и оттуда по готовой железной дороге отправлять в Верону, водяным путём принялись преимущественно перевозить войска. С появлением французского флота в Адриатическом море сообщение Триеста с Венецией было прервано, и всё движение по нужде перешло на одну недоконченную железную дорогу. Перерыв рельсов между Набрeзиной и Казарзой не мешал войскам следовать безостановочно, но сильно замедлил перевозку военных припасов, что не могло не повлиять невыгодным образом на ход военных операций. Тут же должен заметить, какой замечательный порядок существовал по всей дороге, благодаря австрийской военной дисциплине.

Несмотря на огромное скопление военных лиц всякого звания, здоровых и раненых, и чиновников всевозможных ведомств, ни в Казарзе, ни на пути не встретил я ни одного пьяного солдата, ни одного офицера в излишне восторженном расположении духа. Во всех гостиницах и кофейнях царила редкая тишина. Офицеры входили и уходили, раскланиваясь между собой, закусывали, пили вино, но всё это обходилось без шума, без брани и скандала. Даже присутствие в гостиницах молодых прислужниц не вызывало со стороны офицеров нескромной шутливости. Прежде всего требуется от австрийского офицера безусловное соблюдение законов чести и приличное поведёте. Это не служить ещё доказательством, будто все австрийские офицеры ведут себя безукоризненно, встречаются и между ними очень дурные субъекты, готовые на всякую безобразную выходку, но за каждым проступком следует неизбежное наказание. Офицер, провинившийся против чести или нарушивший какое-либо, офицерскому званию присвоенное правило приличия, немедленно исключается из службы.

От Казарзы до Вероны случилось мне проехать в одно время с тогдашним председателем государственного совета, эрцгерцогом Райнером, имевшим любезность пригласить меня в своё вагонное отделение. Эрцгерцог, о котором уже до того я наслышался много хорошего, совершенно покорила меня своим добродушным обращением. Разумно рассуждал он о делах, крепко занимавших в то время каждого австрийца, без всякого нетерпения выслушивал рассуждения, противоречившие его мыслям, и никому не давал чувствовать своего высокого значения. Наше путешествие обошлось не без задержек; поезд принуждён был беспрестанно останавливаться на станциях для пропуска встреченных цугов. В виду самой Вероны мы были остановлены на два часа в ожидании поезда с ранеными, долженствовавшего двинуться из крепости. Раненых и больных отвозили из Италии во внутренние провинции для размещения по обывательским домам, как можно ближе к месту родины. Жара довела нас до изнеможения; не доставало тени, не доставало хорошей воды. Обер-кондуктор предложил эрцгерцогу телеграфировать в Верону о том, что он едет с нашим поездом для простановки веронского цуга, отчего тот решительно отказался, объявив, что он готов прождать сколько угодно, раненых же не следует задерживать без особенно важной причины. В Вероне не оказалось ни одного фиакра

у станции железной дороги, отстоявшей от города на добрый пушечный выстрел; эрцгерцог со своим адъютантом пешком побрели в город; егерь понёс дорожные мешки; сундуки повезли на ручной тележке. Следом за ними потянулись прочие путешественники.

На другое утро поехал я, начав с графа Грюнне, являться всем наличным военным властям. Многим мой приезд приходился не по сердцу: патриотическое самолюбие их противилось видеть русского офицера близким свидетелем горьких неудач, которыми разразился поход, начатый с самыми блестящими надеждами. Чувство это было весьма натурально: поэтому на мне лежала строгая обязанность, по возможности, ему потворствовать, не роняя при том собственного достоинства. В этом случае я нашёл полезную мне поддержку в эрцгерцогах и в старых генералах, которые, помня ещё наполеоновские войны, открыто продолжали сочувствовать русским. От них видел я одни любезности во всё время моего пребывания в императорской главной квартире. Храбрый граф Шлик, под Лейпцигом потерявший один глаз от пики русского казака, принявшего его за французского офицера, зла не помня, принял меня с открытыми объятиями и долго со мной разговаривал о делах, нисколько не скрывая их дурного положения. И я отвечал так же откровенно, пока он не коснулся положения, принятого Россией относительно итальянского вопроса. Тут мои обдуманно уклончивые ответы вызвали его сделать замечание:

— *Pourtant, camarade, vous etes bien boutonne.*

— *D'apr'ès le reglement, mon general,* — ответил я.

Шлик улыбнулся, пожаль мне руку и просил чаще у него бывать.

С Бенедекком разыгралась у меня сцена другого рода. Ещё в Вене были мы знакомы, довольно часто встречаясь у князя Виндишгреца. Там уже я имел случай заметить, что он далеко не добряк, каким прикидывается, востёр на язык, и с ним надо было держать ухо востро. Не успел я перешагнуть через порог, как Бенедек кинулся меня обнимать.

— *Cammarad, herzlich erfreut sie unter uns zu sehen; sind sie endlich zu uns gekommen, wohl um zu hören was die jungen Leute so auf der piazza Bra sprechen!*

На пиаце Бра находилась кофейня, возле которой преимущественно собиралась военная молодёжь, не стеснявшаяся громко осуждать всё, что делалось и творилось на театре войны.

Я отступил шаг назад.

— Zu hören was die jungen Leute auf der piazza Bra sprechen? Gar nicht nöthig; man braucht nur Augen zu haben um zu sehen!

— Cammarad! Cammarad! gleich böse!

— Nicht im geringsten. Excellenz haben nur vergessen: wie man in den Wald ruft, schallt es zurück!

С того времени Бенедек стал меня остерегаться.

В первый же день раз навсегда я был приглашён к императорскому столу, за которым ежедневно сживало человек около шестидесяти, составлявших персонал главной квартиры. Обед был не затейлив, состоял из четырёх блюд и десерта, но был также хорошо приготовлен и сервирован, как бы в Венском дворце. Император обедал вместе со всеми, за большим, покоем устроенным, столом. По окончании обеда он уходил в боковую комнату, куда за ним следовали имевшие представиться. Был я принят после моего первого обеда. Ни в наружности его, ни в разговоре я не заметил ни малейшей перемены против венского приёма, хотя, как мне сказывали, сольферинская неудача сильно его потрясла, и он душевно продолжал скорбеть о прошедшем и не без опасения взирать на будущее. Умел он владеть собой. Приветствовав меня одинаково любезно, как в моё первое венское представление, после немногих посторонних вопросов, император заключил словами:

— Очень благодарен вашему государю за то, что вас прислал в мою армию; признаю это доказательством одинаково дружелюбных чувств, какие он питает ко мне и к моим противникам, у которых в лагере также находится русский офицер.

Почти в одно время с моим приездом в Верону граф Павел Шувалов прибыл в главную квартиру Луи-Наполеона.

Приехал я в Верону на пятые сутки после Сольферинского дела. Франко-сарды к тому времени переправились на правую сторону реки Минчио и около Валежио заняли сильную позицию; австрийцы заперлись в черте веронских передовых укреплений; военные действия приостановились; с обеих сторон отдыхали и готовились, пополняя потери и исправляя попорченный материал. Тут мне привелось вкусить все прелести бездейственной, утомительно однообразной военной стоянки: поутру, пока солнце не припекло, прогулка за город, не выходя за черту передовых верков, потом обед за императорским столом, вечером ленивое

восседание пред кофейней ради утоления жажды бесчисленными порциями гранито и мороженого, причём приходилось выслушивать бесконечные толки обо всём, что было сделано, и чего бы делать не следовало. Эти пересуды ежедневно повторялись на всевозможные лады, смотря потому, как дело каждому представлялось, доставляя мне возможность не только факты узнавать, но и знакомиться с характером и умственными качествами рассуждавших. Главным предметом всех разговоров, понятным образом, служило последнее сражение под Сольферино, которое, согласно рассказу принимавших в нём деятельное участие, разыгралось следующим образом.

Сторя желанием загладить Гиулаем наделанные ошибки, император Франц-Иосиф принял решение действовать наступательно, вопреки мнению Гесса и некоторых других опытных генералов, советовавших не покидать известного крепостного квадрилатера. Нашлись люди угодливые, не преминувшие помощью самых убедительных доказательств поддержать желание императора. На собранном по этому случаю совете было положено, переправившись чрез Минчио, атаковать неприятельскую армию, стоявшую близь Кастиглионе. Растянув линию на четыре мили, сто сорокатысячная австрийская армия двинулась к означенному пункту, имея в предмете, охватив правый неприятельский фланг, прижать противника к горам. Концентрически направленные австрийские колонны должны были сойтись пред самой неприятельской позицией. По теории совершенно правильно; на деле же расчёт австрийских тактиков не оправдался. Франко-сарды, помощью воздушных шаров разведавшие, чего домогались австрийцы, с вечера пошли им навстречу, вследствие чего вместо одного общего сражения под Кастиглионе произошло три, связи не имевших, столкновения: в Поцоленго, Сольферино и Медоли, которые совершенно с толку сбили австрийских генералов, не ожидавших так скоро встретиться с неприятелем. Бенедека, стоявшего на правом фланге со своим корпусом, в третьем часу утра разбудили французские ядра, полетевшие на Поцоленго; на левом фланге, которым командовал граф Вимпфен, один австрийский пехотный полк вошёл в Медоли, не зная, что другой конец деревни уже занят французами — значить, австрийцы шли, плохо разведывая местность впереди себя. Отсюда ошибка последовала за ошибкой. Центр австрийской армии оказался неимоверно слабым: Сольферино заняла только одна бригада; о пехотных резервах совершенно забыли; резервная артиллерия левого фланга потеряла дорогу и совсем не

пришла на поле сражения. Блистательная атака гусарского полка под командой Эдельсгейма, прорвавшая французскую линию вплоть до перевязочного пункта, осталась без результата. Повторные атаки кавалерийской дивизии графа Менсдорфа на медольской равнине, отражаемые убийственным огнём французской артиллерии, также ни к чему не повели. Генерал Цедвиц Менсдорфа не поддержал, и поутру ещё без всякого повода отвёл к Минчию свою кавалерийскую дивизию, за что и был удалён от службы. Граф Вимпфен, имевший задачей теснить правый фланг французской армии, удерживаемый Мак-Могоном, Канробером и Ниелем, не мог выиграть пяди земли. На одном правом фланге австрийцы имели успех. Бенедеку удалось отбросить сорокатысячную Сардинскую армию, причём он сделал, однако, очень важную ошибку: увлекаясь отличавшею его солдатскою храбростью, безрасчётно зарвался он в преследовании, со всем корпусом своим погнался за сардинцами до Ривольтеллы, тем обнажил центр армии и у себя отнял возможность его поддержать, когда Луи-Наполеон превосходными силами атаковал Сольферинские высоты, служившие ключом австрийской позиции. Сам он едва успел уйти за реку, когда французы, захватив Сольферино, чрез Кавриану двинулись к Волге. Заняло французами Сольферинских высот решило судьбу сражения; дальше австрийцам не стоило драться, и, полагая, они были очень рады, когда в шестом часу по полудни сильная гроза обе стороны принудила прервать сражение. Затем австрийцы, не теряя порядка, отступили к Вероне, а франко-сарды вслед за ними перешли чрез Минчию и выдвинули свои аванпосты под самую крепость. Австрийские потери в этом деле простирались убитыми и ранеными до 18.000, пленными несколько свыше 9.000. Французы потеряли не меньше, в плен попали однако не больше 600 человек. У сардинцев убыло из строя около 6,500 человек.

Прусский и английский военные агенты, Редерн и Мельдмей, присутствовавшие во всех делах от самого начала кампании, отдавали полную справедливость храбрости австрийских войск. По мнению их, немецкие и богемские полки лучше других выдерживают в огне; стирийцы в деле покойны и хорошо стреляют; за ними следует галийская, потом венгерская пехота, которая, однако, стоит несравненно ниже своей кавалерии. Венгерец пеший и венгерец конный — два разных человека: в первом случае он солдат обыкновенной храбрости; во втором — удержу

не знает. Французская кавалерия была не в силах ведаться с австрийскими гусарами и спасалась от них только тем, что уходила под защиту своей пехоты или артиллерии. Под Маджентой пять эскадронов гусарского полка имени короля Прусского, под командой Эдельштейма, доказали, что способна сделать хорошая кавалерия, причём, однако, следует заметить, что тогда ещё не существовало сказённой части заряжаемых, скорострельных ружей. По сильно перерезанной местности, чрез рвы и высокие каменные стенки, гусары атаковали французскую пехоту и отбросили её к Понте-ди-Маджента. Всё бежало пред ними. Французские пленные мне сказывали, что им показалось, будто на них налетели не кавалеристы, а черти. Сольферинская бешеная атака принадлежала тому же полку.

Австрийских егерей Мельдмей ставил несравненно выше французских относительно стрельбы; французы превосходили их только быстротой движений и умением пользоваться местностью. Артиллерию он также хвалил: стреляла она метко и хладнокровно, но по свойству своего старого вооружения не могла с выгодою бороться против французских новоизобретённых нарезных орудий. Кроатские пограничные, ныне реорганизованные, полки хорошо дрались за прикрытием, плохо в чистом поле; очевидцы рассказывали мне, что под огнём нелегко было их удерживать в должном порядке.

Но к чему ведёт слепая солдатская храбрость, когда у командующих не достаёт умения пользоваться ею сообразно обстоятельствам? Очертя голову, кидаться в драку ведёт к одному бесплодному кровопролитию. Австрийская армия считала в своих рядах не мало храбрых генералов, а дело между тем не ладилось. Барон Гесс Действительно был даровитый и знающий генерал, но страдал избытком идей, подобно нашему князю М. Д. Горчакову; придумав какую-нибудь очень хорошую меру, он не умел остановиться на ней, начинать менять без конца, и от этого нередко упускал решительную минуту. Радецкий, у которого он прежде служил начальником штаба, умел пользоваться его дарованиями, хватался за его первую хорошую мысль и заставлял её привести в исполнение без всякой перемены. Кроме того, Гесс в армии и при дворе имел сильных противников, не дававших хода его мыслям. Сам император был молод, нетерпелив, не доверяя собственному опыту, крепко полагался на графа Грюнне, который в свою очередь по военным делам взял себе в советчики

надутого, самоуверенного, только на интриги умелого, генерала Римминга. План наступательного движения, полагать должно, им был составлен; по крайней мере на него походило.

Вяло тянулись в Вероне невыносимо скучные дни. Солнце пекло, как в растопленном горниле: в первых числах июля жара стала доходить в тени до 27 и 29° Реом. Войска, стоявшие биваком на открытой, безлесной равнине, изнемогали от зноя; число больных возрастало с каждым днём; случаи солнечного удара быстро умножались. В городе днём не только люди, но и собаки прятались по домам; одни военные по необходимости не переставали, потом обливаясь, снова по раскалённой мостовой. Пред самым только закатом улицы начинали наполняться мундирною толпою, среди которой изредка проносились какие-то весьма подозрительные кринолины венского покроя; ни одного итальянца высшего круга, ни одной порядочной итальянки мы глазом не видали. Ночью, случалось, на высоких балконах кое-где появлялись белые женские фигуры и тотчас исчезали, заметив, что с улицы на них глядят. Все наши дни проходили одинаковым порядком: в 6 часов собирались к обеду в императорскую главную квартиру, после чего стар и млад отправлялся на пиацу Бра и пиацу Сигнори, где от безделья просиживали до поздней ночи, поглощая несметное количество гранито и пецо гу гиагэ и глаза на громадную Трояновскую арену и на чудные памятники скалигеров. Другого удовольствия не существовало: театры были закрыты, военная музыка не играла на площадях, частные дома оставались затворёнными без всякого исключения.

В главной квартире, казалось, господствовало полное затишье; обычная военная деятельность будто примолкла; эта тишина была, однако, очень обманчива: под видом непоколебимого спокойствия скрывались глубокие опасения за ближайшую будущность. Победоносный неприятель стоял на носу, пока ещё не трогался, но в одном переходе мог появиться в виду крепости, которая, хотя и пользовалась славой непреодолимого оплота, на деле же во многом не соответствовала своей громкой репутации. Веронские отдельные форты были растянуты на слишком большое протяжение, и не были достаточно вооружены. Граф Гиулай сначала кампании увёз в Пиаченцу и Павию 170 орудий большого калибра, которые, ретируясь, там утопил в Тичино, а из Казарзы не успевали перевозить в Верону недостающее количество тяжёлых орудий

и артиллерийских снарядов. Боялись, что неприятель, разведав об этом деле, всеми силами атакует какой-либо, более слабый пункт и, не будучи встречен достаточно сильным огнём, успеет прорвать линию передовых укреплений, на какой случай заблаговременно было решено, отдав Верону, ретироваться по тирольской дороге. В начале дня по главной квартире была разослана диспозиция на случай тревоги, в которой между прочим значилось: при первых выстрелах всем чинам главной квартиры собраться перед домом, в котором жил император, запасных же лошадей и повозки со всею кладью отправить за крепость на ревередскую дорогу и построить там в обозную колонну, дышлом к Ревередо.

Находились австрийцы в довольно неловком положении, но и французам приходилось не легче. Лучше других было сардинцам, расположенным в окрестностях Монцамбано, посреди совершенно им преданного населения, им выпала на долю не трудная задача осаждать Пескиеру. Французы, занявшие позицию на высотах Сомакампани, в ближайшем расстоянии от сильной ещё неприятельской армии, принуждены были находиться в постоянной готовности к бою, не пользовались особенным расположением жителей, прятавших жизненные припасы, не имели для питья здоровой воды и много теряли людей от лихорадки, тифа и госпитальной гангрены, поражавшей большую часть раненых. От жару они страдали не меньше австрийцев. Между солдатами распространилась у них кожная болезнь, известная в Италии под именем — *calore*, которой подвергаются обыкновенно люди, не успевшие привыкнуть к жаркому местному климату. У заболевшего тело начинает гореть, чесаться, покрывается красноватыми пузырями; человек теряет сон и от бессонницы ослабевает до совершенной невозможности нести службу. Кроме того, германский союз снова поднял на время отложенный вопрос: по первому известию о несчастной Сольферинской битве, во Франкфурте было решено на верхнем Рейне немедленно выставить корпус из южногерманских контингентов, и Пруссии, чтобы не раздражить против себя немецких патриотов, согласилась с своей стороны выдвинуть наблюдательный корпус на рейнскую границу. Этим Франция ставилась в необходимость разделить свои силы, а Австрии давалась возможность свою итальянскую армию умножить войсками, стоявшими в Дунайской долине.

В виду такого неблагоприятного стечения обстоятельств, грозивших из рук его вырвать плоды двух кровавых побед, Луи-Наполеон счёл полезным прекратить войну, не довершив своего обещания освободить Италию вплоть до Адрии, почему и решился сам сделать первый шаг к перемирию, на которое с радостью согласился австрийский император, имевший весьма основательные причины бояться неудовольствия, распространившегося внутри империи, и не слишком полагаться на содействие со стороны Пруссии. Поводом к первому сближению враждующих послужило желание австрийцев выручить от французов тело павшего под Сольферино полноватого командира, князя Виндишгреца. Австрийский парламентёр, посланный по этому случаю в неприятельский лагерь, был лично принят Луи-Наполеоном самым ласковым образом, причём тот ему заметил, что уже давно питает желание положить конец душе его противному кровопролитию, если только император Франц-Иосиф не откажется протянуть ему руку примирения. Вслед за тем парламентёром приехал в Верону пьемонтский капитан граф Робилан, побочный брат Виктора-Эммануила, позже занявши место итальянского посла при венском дворе. В чём заключалось его поручение, осталось тайной для нас, иностранных военных агентов; знали мы только, что он лично был принят императором австрийским, продержавшим его более получаса в своём кабинете, и что в ту же ночь барон Гесс съездил к французам. Два дня спустя, 7 июля, прибыл в Верону новый парламентёру ординарец французского императора, Дюк-де-Кадор, и в ту же ночь генерал-адъютант Флери привёз собственноручное письмо от Луи-Наполеона к Францу-Иосифу. На другой день объяснилось, о чём переговаривали: между воюющими сторонами было заключено пятидневное перемирие; значит, дело клонилось к миру.

Одиннадцатого июля, рано поутру, император Франц-Иосиф с небольшою свитою поехал в Вилла-Франку для свиданья с императором французов. Последствием этой встречи был мир, который оба императора заключили между собой на следующих предварительных условиях. Император австрийский Ломбардию уступает Франции, которая передаёт её Сардинии; Венецианское королевство с крепостями Мантуа и Пескиера остаётся за Австрией; мелкие итальянские владения образуют конфедерацию с папой во главе. На требование Франца-Иосифа снова восстановить герцога моденского и великого герцога тосканского Луи-

Наполеон согласился под условием, если большинство жителей того пожелает. В заключение было постановлено австрийским и французским комиссарам в скорейшем времени съехаться в Цюрих для составления мирного договора на сказанных условиях.

По первому известию о мире, заключённом двумя императорами в Вилла-Франке, германский союз и Пруссия остановили задуманную мобилизацию обсервационных корпусов, долженствовавших стать на Рейне.

Собрались мы в тот день по заведённому порядку обедать в главной квартире. Слух об утренней поездке императора в Вилла-Франку нас не миновал, но к какому результату привело свидание обоих императоров, мы не знали ещё. Император Франц-Иосиф, вообще не разговорчивый, в тот день был молчалив свыше привычки; тень глубокой скорби лежала на лице его. Ближе к нему сидевшие, старшие австрийские генералы также хранили глубокое молчание; молодёжь таинственно перешёптывалась и как-то недружелюбно поглядывала на нас троих — англичанина, пруссака и на меня, чем же мы были виноваты?

Под конец обеда произошла тревога. Вошёл дежурный по караулам, что-то шепнул графу Грюнне, тот передал императору, который тотчас встал и пошёл в свой кабинет. Все присутствовавшие поднялись; итальянские принцы опрометью кинулись в противоположную сторону, в комнаты, который занимал граф Грюнне. Через несколько минут по зале прошёл к императору принц Наполеон, совершенно неожиданно приехавший в Верону. Пока большая часть обедавших на дворе курили и пили кофе, обездоленные итальянские владетели, неприятным образом затронутые неожиданным посещением противного им принца, задним крыльцом спустились на улицу, забыв прицепить сабли, с коими под мышкой пустился их догонять придворный жандарм. Народ, имевший обыкновение толпиться пред дворцовыми воротами, громким хохотом приветствовал эту несколько смешную сцену.

Тринадцатого июля, пред самым обедом, комендант главной квартиры, фельдмаршал-лейтенант граф Феттер, нам сообщил, что император вечером уезжает из Вероны, и нам, иностранцам, поэтому, не остаётся времени откланяться его величеству. Драма разыгралась, занавес опустился, актёры стали расходиться по домам. Да и нам, пассивным зрителям чужой суеты, оставалось только уходить из палаццо Вероны.

Англичанин поехал в Лондон, пруссак в Берлин передавать результаты своих наблюдений; а я, не имея приказа явиться в Петербург, через Гюцен и Инсбрук отправился в верхнюю Австрию на Гмундское озеро, где жена проводила лето в Траун-Кирхен, известном всей Австрии по своему живописному положению и по красивой вилле, принадлежащей двум русским девицам Панчулидзевым. Вид с высоты, на которой построена вилла, не только может равняться, но положительно превосходить лучшие виды, которыми так славятся озёра Гардское и Комское. Там растительность богаче, постройки изящнее, но очерки гор, окружающих Гмундское озеро, смелее, разнообразнее и шире даже в размерах.

V.

Влияние на Австрию неудачной кампании. — Реформы императора Франца-Иосифа. — Увольнение графа Буоля. — Барон Гюбнер. — Самоубийство барона Эйнатена и барона Брука. — Учреждение усиленного рейхсрата. — Архиепископ Раушер — Народное неудовольствие. — Большие маневры в Дарсаве. — Моя беседа с императором Александром Николаевичем. — Случай с батарейным командиром. — Наследник цесаревич. — Болезнь императрицы Александры Фёдоровны. — Отъезд императора из Варшавы.

Вернулся я в Вену пред началом зимы и нашёл город в сильном волнении. Бюргеры громогласно восставали против существующего порядка, осуждали министров, бранили императорских любимцев, острили над императором. Неудачная итальянская война, а более ещё невыгодный мир, лишивший империю цветущей провинции, и финансовое расстройство, вызванное военными издержками, чувствительно поколебали правительственный авторитета. Император Франц-Иосиф, разочарованный насчёт своей армии, обманутый в уповании на талантливую дальновидность своих ближайших советников, стал сознавать необходимость, для блага империи и для укрепления династии, перейти к новой системе управления, причём весьма благоразумно принялся постепенно вводить реформы, соответственные духу времени, не выпуская, однако, из своих рук инициативы в мерах, которые ему казались пригодными успокоить умы, упрочить народное благосостояние и тем восстановить потрясённую силу империи. Нельзя сказать, чтобы в этом

случае, не взирая на его осмотрительность, обошлось без важных ошибок, необдуманных попыток и неожиданных разочарований. Племенной антагонизм, сословные притязания и закоснелая религиозная нетерпимость в Австрии донельзя усложняют каждый правительственный вопрос, но в общем итоге переворот, произведённый императором в форме правления, надо сознаться, всё-таки привёл к очевидному улучшению государственного быта.

Ультракатолик по воспитанию, глубоко преданный абсолютизму по вековым традициям дома своего, не по чувству и убеждению, а повинувшись силе обстоятельств, решился Франц-Иосиф вступить на дорогу либеральных учреждений, и, в похвалу ему должно сказать, с той поры, победив самого себя, не сворачивая, твёрдым шагом, пошёл по избранному пути. Ни хитрые козни властолюбивой феодально-клерикальной австрийской знати, ни сопротивление, встречаемое им в кругу собственной семьи со стороны родительницы своей, эрцгерцогини Софии, когда дело касалось церковного интереса, не успевали ослабить его решимости. Да и пора была перейти к новому порядку вещей. Австрия видимо подвигалась к полному разложению: Баховская административная манипуляция породила несказанную путаницу; полицейские строгости, притупив чувство боязни, довели народ до глубокого озлобления; постановления конкордата сковывали свободу совести и мышления тесными узами клерикальной нетерпимости; финансовое расстройство угрожало государственным банкротством. Ценность бумажных денег, благодаря Бруку, пред войной стоявшая «*al pari*», упала на 60 %. По всем провинциям платёж податей прекратился на половину. Напрасно ставили экзекуцию к неплательщикам, напрасно продавали их имущество и самих сажали в тюрьму; под конец не стало места, куда сажать, не находилось, кому продавать под молоток попавшее добро; на казну ложилась только обязанность кормить лошадей и скотину, захваченных у неплательщиков. Венгрия находилась в сильном брожении: там без дальних околичностей жгли дома у покупателей за недоимку конфискованного имущества, чему всего чаще подвергались евреи, не имевшие силы устоять против соблазна дешёвой наживы.

При стечении таких неблагоприятных обстоятельств наступил 1860 год, открывший для Австрии новую эру. Постепенно увеличивая уступки, настоятельно требуемые общественным мнением, император Франц-Иосиф

силою обстоятельств наконец был доведён до издания Февральского патента 1861 года, которым австрийским народам даровалась ныне существующая конституция. Для успешного водворения нового порядка, понятным образом, требовались и новые государственные деятели. Поэтому австрийский император прежде всего постарался заменить новыми людьми своих прежних, к преданиям старины застывших министров.

В мае ещё 1859 года, вслед за объявлением войны со стороны Франции, граф Буоль был уволен от должности министра иностранных дел. В императорском послании (Handsreiben) значилось — по собственной просьбе, но это была только позолочённая пилуля. Дело совершилось столько же неожиданно для него самого, как и для всей публики. Ещё за два дня до появления этой новости у графа Буоля был блистательный раут, на котором я присутствовал, и самый наблюдательный глаз не в состоянии был подметить ни малейшей перемены в его горделивой осанке, ни в улыбках, с которыми его встречали собранные тут дипломаты. А носился бы между ними слух о падении его, как ни приучены они владеть своими физиономиями, у того или другого непременно проскользнул бы хоть минутный взгляд недоумения при виде спокойствия, хранимого министром, готовящимся потерять портфель.

По поводу его неожиданной отставки мне представился случай увидеть, как мало настоящего благородства следует искать даже в кругу людей, преимущественно претендующих на безусловную порядочность. Проходя по Грабену, недалеко узнал я графа Буоля, шедшего мне навстречу; шёл он, глубоко нахлобучив шляпу, в землю потупив бывало невозмутимо гордый взгляд. Впереди меня шло несколько человек, в дни силы его большою честью считавших получить от него приглашение к обеду и на вечер, ещё за два дня пред тем на лету ловивших его улыбку, низко изгибавших спину пред ним, когда он осанисто прогуливался по своим, гостями кишевшим залам. Теперь проходили они мимо него, шляпы не касаясь, будто его не узнавали.

Охало мне досадно на этих господ, так бесцеремонно выставлявших на показ своё невнимание к человеку, которому недавно ещё льстили и поклонялись в виду всего общества.

Поравнявшись с Буолем, я снял шляпу и почтительно поклонился ему.
— J'ai L'honneur de saluer monsieur le comte!

Буоль приподнял голову и пытливо взглянул на меня — не сарказм ли? Кланяется русский, а русские, знал он, со времени восточной войны его любить не могли и внутренне должны были радоваться его падению; не заметив, однако, ничего подобного, Буоль приподнял шляпу, поклонился раза два и прошёл.

В десяти шагах от него встретил я некоего незначительного немецкого дипломата.

— *Qui venez vous de saluer avec tant de déférence?* — спросил он, — *je n'ai vu que son dos.*

— *Le comte Buol.*

— *Mais vous savez qu'il n'est plus ministre, et je pense qu'en votre qualité de russe vous n'avez jamais été du nombre de ses admirateurs zélés.*

— *Vour avez raison. Mais comme je ne me sens pas courtisan du succès quand même, je trouve mieux placé de saluer une grandeur déchue, qu'un homme au pouvoir, et je lui fais grace du passé.*

Несколько лет спустя, этот господин напомнил мне мои тогдашние слова. Шли мы вдвоём по какой-то маленькой венской улице. Вдруг он меня остановил.

— *Fidèle a votre principe, veuillez tirer votre chapeau!*

— *Pardon? — devant qui?*

— *Regardez, une grandeur déchue,* — и показал на противоположный тротуар.

По другую сторону улицы, экс-министр, экс-посол, когда-то многовластный Бах, одетый в старенькое пальто, быстро скользил, чтобы пройти незаметно; не то уличные мальчишки, узнав, не упустили бы случая закидать его грязью, такую славную популярность он себе заработал, будучи министром.

Стоит после того тратить ум и здоровье на добывку министерского портфеля! Должность ровно тиски: сверху жмут и долбят, снизу щетинятся и бранят.

Графа Буоля заменил по министерству иностранных дел граф Рехберх, прежде занимавший пост посланника при германском сейме. Не знаю, много ли Австрия выиграла от такой перемены. Если граф Буоль своей политикой подготовил неудачную войну с Пиемонтом и Францией, то про графа Рехберха положительно можно сказать, что он в свою очередь не пожалел труда подвести Австрию под удары 1866 года. Да и наружностью

он не мог равняться с осанистым Буолем: мало встречал я в венском обществе людей, наделённых такою некрасивою физиономией, какою обладал малорослый, тщедушный, сухим сморчком глядевший Рехберх.

Ловкий, изворотливый Бах раньше того был заменён в министерстве внутренних дел графом Голуховским и отправлен в Рим послом при папском дворе; жестокий, всеми ненавидимый генерал Кемпен, управлявший делами полиции, замещён бароном Гюбнером, до войны занимавшим в Париже место посланника. Короткое время, всего месяца четыре, заведовал он министерством полиции, после чего поступил в Рим на место Баха, потерявшего всякое значение. Карьера этого ретивого сторонника римской курии началась при канцлере, князе Меттернихе, у которого он служил канцелярским чиновником и своей услужливостью умел снискать благоволение князя и княгини, нося в то время не весьма благозвучную фамилию Гассенбрелея. Встретив в сём последнем обстоятельстве препятствие сделаться супругом дочери гофрата Пилата, редактора газеты «Österreichische Beobachter», органа Меттерниха и Генца, выпросил он у императора Франца I позволение переделать свою фамилию в Гюбнера. Гофрат Пилат был Меттерниху близкий человек: женившись на его дочери, Гюбнер, обладавши, сверх того, хорошими канцелярскими способностями, быстро пошёл в гору. В посланники он попал, с производством в бароны, по милости князя Феликса Шварценберга, который, ненавидя Луи-Наполеона, удовольствием себе поставил наделить его таким не синекровным посланником. В парижском обществе положение Гюбнера было незавидно, и он пред войной ничего не знал, что происходило вокруг него, и поэтому не имел возможности делать своему правительству верные сообщения о настоящих намерениях французского кабинета. После Вилла-Франки заместил его в Париже князь Ричард Меттерних. В Риме Гюбнер остался до той поры, пока в Австрии не пошатнулся конкордат; после того вернулся в Вену, несколько времени носился с притязаниями на новый министерский портфель и кончил тем, что о нём и говорить перестали. Распространился я насчёт Гюбнера более потому, что нередко встречался с ним у одного знакомого прелата и, прислушиваясь к его суждениям, только мог удивляться односторонности его понятий, сложившихся в духе учения отцов иезуитов, что и доставляло ему покровительство их, но едва ли оправдывало назначения, которые ему

давало правительство, кроме римского поста, на котором он находился в своём природном элементе.

В конце 1869 года, император Франц-Иосиф, покоряясь народному голосу, приписывавшему неудачи итальянской кампании главным образом графу Грюнне, из генерал-адъютантов переименовал его в обер-шталмейстеры, звание, в котором он терял всякое влияние на военные дела, а на его место назначил первым генерал-адъютантом фельдмаршал-лейтенанта, графа Кренневиля, человека хорошего, разумного и умеренного в смысле религиозных и политических убеждений.

Весна 1860 года ознаменовалась двумя происшествиями, сильно возмущившими общественную совесть. В военно-административной сфере были открыты значительные злоупотребления по части снабжения армии провиантом и военными припасами во время последней войны. Во главе арме-оберкомандо, заменявшего тогда военное министерство, находился эрцгерцог Вильгельм; должность помощника его (Aldatus) исправлял фельдмаршал-лейтенант, барон Эйнатен, у которого находилась в руках вся хозяйственная часть. Вследствие накопившихся против него улики он был арестован, предан суду и, не дождавшись приговора, повесился в стенах своего арестантского помещения. Около того же времени министр финансов Брук кончил жизнь самоубийством. По делу Эйнатена судебная комиссия потребовала его к допросу, основываясь на участии, которое министерство финансов принимало в некоторых военных подрядах, от чего он, находясь в звании министра, ответственного одному императору, себя почёл в праве уклониться, дело дошло до императора, который, вместе с увольнением от должности, ему предписал не отговариваясь исполнить требование комиссии. Брук, глубоко оскорблённый в своём самолюбии, в ту же ночь перерезал себе горло. Это никем неожиданное происшествие сильно помутило умы. В придворном кругу, в котором он имел много противников, самоубийство его старались выставить явным доказательством виновности; большая же публика злобно накинулась на его противников, якобы ложными наветами погубивших умного министра, безукоризненно служившего своему правительству, требовала строгого исследования дела и восстановления фактов в их истинном виде. Бумаги Брука немедленно были опечатаны, требуемое следствие произведено, и самоубийца оказался чистым во всех своих действиях. Открылось, что после ликвидации своего триестского банкирского дома, в течение десяти

лет занимая должности министра торговли и министра финансов, он свой собственный капитал умножил не более, как на сто тысяч гульденов, без малейшего ущерба для казны и для законного интереса какого бы то ни было частного лица. Публичное восстановление честного имени погибшего Брука благоприятным образом повлияло на положение осиротевшего семейства; один из его сыновей впоследствии даже достиг звания посланника, между тем как сыновья Эйнатена с запятнанною памятью своего отца не могли оставаться в кругу австрийского общества, и от этого переселились в Америку.

Видный из себя, своим выразительным лицом возбуждал он любопытство, умною речью приковывал внимание вступавшего с ним в разговор. Высказывал он своё мнение ясно и положительно, но без всякой резкости. Удовольствие доставляло его послушать. По части финансовых оборотов пользовался Брук замечательно верным взглядом и умел твёрдо проводить свои мысли. Памятна мне его верная оценка торговых и промышленных потребностей не только австрийского, но и других государств, когда он однажды в своём кабинете на карте мне указывал железнодорожные линии, в коих Россия преимущественно нуждалась, определяя их политическое, торговое и военное значение с редким знанием местных обстоятельств и экономических условий, в коих тогда обретался русский крепостной народ.

Уступая давлению общественного мнения, настойчиво требовавшего отмены феодалам и клерикалам столь дорогого административного произвола, тормозившего народную деятельность, император Франц-Иосиф в начале марта учредил так называемый усиленный рейхсрат (государственный совет), долженствовавший собираться периодически для постановления бюджета, для контроля государственных расходов и для обсуждения законодательных проектов. Усиленный рейхсрат, кроме правительством назначенных лиц, должен был состоять из тридцати восьми членов, утверждённых императором по предложению провинциальных сеймов. Председателем совета был назначен эрцгерцог Райнер. Учреждение такого рода государственного совета, только отчасти основанного на избирательном начале, далеко не соответствовало народным ожиданиям. С этого начались уличные демонстрации, направленные против министров, а более ещё против венского архиепископа, кардинала Раушера, которого народ не без основания признавал самым упорным соратником конкордатом

созданного духовного гнёта. По вечерам народ густыми толпами стал наполнять венские улицы и площади с не скрытым намерением потешиться над стёклами кардинальского дворца и министерских жилищ, сопровождая это занятие музыкальным аккомпанементом, известным у немцев под именем «кошачьей музыки».

Меры для охранения окон и несколько чувствительного слуха гг. министров были приняты правительством, насколько позволяли обстоятельства, не разжигая народных страстей до открытого восстания, которое бы пришлось укрощать силою оружия. Доступ к архиепископскому дворцу, против церкви св. Стефана, каждую ночь заграждался двумя ротами, некоторые боковые улицы были заняты конницей, пехотные и конные патрули искрещивали город. Судя по количеству народа, густыми массами запрудившего улицы, эти меры могли казаться слишком слабыми, но дело, в сущности, было не таково: за наглухо затворёнными воротами домов на Грабене и на ближайших улицах, неведомо для публики, скрывались батальоны, по первому сигналу готовые высыпать на улицу для поддержки полиции и небольших пехотных патрулей. Народ, не решаясь вступить в открытую борьбу с вооружённой силой, ограничивался гуляньем по улицам, бранными криками и свистками. Изредка раздавался звон разбитого, зачастую ничем неповинного, стекла. Когда крики и свистки начинали переходить за предел положенной терпимости, тогда с какой-нибудь стороны неожиданно раздавался барабанный бой, и на улице появлялась пехотная колонна, наступавшая тихим шагом. Народ раздавался пред войском, а войско, очистив себе дорогу, не мешало народу наслаждаться вечернею прохладой. Такое гулянье войска по одну, народа по другую сторону улицы продолжалось иногда до поздней ночи — кто кого перегуляет. Войско, разумеется, удерживало поле за собой; народ, соскучив гулять без цели и нужды, начинал расходиться, и город к утру принимал свой обычный спокойный вид. Во избежание прямого столкновения войска с народом, впереди колонны рассыпным строем шли тайные, в гражданское платье одетые, полицейские агенты, имея за собой мундирный полицейский резерв. Агенты, замешавшись в толпу, хватали крикунов, отдавали их полицейской команде, а та в свою очередь передавала их войску при малейшем поползновении народа освободить арестованных. Захваченных крикунов на другой день сортировали; подстрекателей и грубо провинившихся против полицейского порядка предавали суду, а менее

виновных отпускали на свободу. Такого рода ночные демонстрации под конец обратились в хронически недуг. Правительство со своей стороны, постепенно устраняя действительно тягостные для народа постановления, помощью прессы старалось унимать взволнованные умы, в чём не имело, однако, видимой удачи.

Всё, что рассказываю об этом времени, происходило на моих глазах. Не раз выходил я ночью на улицу поглядеть, в каком положении дела состоят, и каждый раз возвращался, глубоко уверенный, что нечего ещё бояться открытого восстания; но что правительство, во избежание действительно опасных смут, ради собственной выгоды, скоро принуждено будет хотя бы частью восстановить конституцию, дарованную в 1849 году и уничтоженную в 1861 году.

В таком смутном положении я покинул Вену, уезжая в Россию по собственным делам. На возвратном пути, в проезд через Петербург, военным министром Н. О. Сухозанетом мне было приказано явиться в Варшаву к маневрам, на которые император австрийский и прусский принц-регент должны были приехать для свидания с нашим государем. Маневры служили только предлогом для этого свидания, имевшего в виду установить между тремя державами полюбовное соглашение касательно итальянских дел, принявших в этом году оборот, опрокидывавший все консервативные традиции европейской политики, созданной Венским конгрессом после падения Наполеона I. Гарибальди в то лето, как известно, для Сардинии завоевал помощью своих волонтёров Сицилию и Неаполитанское королевство: некоторые части Папских владений, на основании всенародного голосования были присоединены к Пиемонту; объединение Италии, начатое Луи-Наполеоном в 1869 году, путём революции угрожало перейти далеко за пределы, в которых он было рассчитывал таковое удержать. Да и собственная политика императора французов, стремившаяся к умножению французской территории, побуждала собравшихся государей короче сойтись между собой для согласного противодействия его честолюбивым замыслам.

За два дня до прибытия государя Александра Николаевича я находился в Варшаве, где мне была отведена квартира в Лазенках, во флигеле, в котором помещалась императорская свита. На первый раз мне приходилось присутствовать на варшавских маневрах по приказанию государя, видеть там иностранных принцев, но никогда я не встречал более

многочисленного собрания заграничных гостей. С государем прибыль в Варшаву покойный цесаревич Николай Александрович; император австрийский и прусский принц-регент, кроме придворных чинов, привезли с собой множество офицеров и генералов поглядеть на русское войско. Не только Ланзенковский дворец, все варшавские гостиницы были переполнены гостями, призванными пользоваться широким русским гостеприимством. Случалось мне бывать гостем австрийского императора на маневрах в Парендорфе и в Бруке на Лейте: всё было хорошо и прилично, но без роскошного излишка, каким сорил наш двор. Счёта не было экипажным и верховым лошадям, состоявшим в распоряжении иностранных офицеров и государевой свиты. Жившие в гостиницах могли требовать, что хотели; проживавшие в Лазенках пользовались гофмаршалским столом; кроме того, каждый имел право обедать у себя, не желая присутствовать за общим обедом. Обедавшим на дому ежедневно отпускалось по две бутылки столового вина, бутылка шампанского и полубутылка хересу, портеру же, пива, мёда, сельтерской йоды, чаю и кофе, сколько желалось. Это право вело к двойному, совершенно ненужному расходу. Кормился ли гость за общим столом, или нет, придворная прислуга не упускала требовать для него домашний завтрак, обед и ужин, обращая в свою пользу вино и еду. К довершению всего, принадлежавшим к императорской свите пред отъездом из придворной конторы приносили ещё деньги для раздачи лакеям на чай. Иностранцы, глядя на такую безрасчётную трату, втихомолку посмеивались, не брезгая, однако, пользоваться всеми ею доставляемыми удобствами.

В день прибытия государя приехал в Варшаву наш венский посланник, Балабин, сутками опередив австрийского императора. Государь принял его в тот же вечер, а мне было приказано на другое утро явиться его величеству.

Государь встретил меня словами:

— А что? плохо Австрии приходится — распадается она?

— Немного расшаталась, но, кажется, ещё держится.

— Как? — вчера вечером Балабин подробно мне рассказал всё, что творится у вас в Вене и по провинциям. Не даёт он ей просуществовать трёх месяцев.

— Долго ещё проживёт она.

— Повсюду царит неудовольствие, финансы расстроены, народ не повинуется, венские уличные демонстрации грозят обратиться в явное восстание!

— Именно в последнем позволяю себе сомневаться. Покричать, пошумят, кое-кому стёкла побьют; до баррикад, однако, дело не дойдёт — австрийским народностям ещё памятен сорок восьмой год. А ныне правительство сильнее прежнего; войско хорошо дисциплинировано.

— Но сам Франц-Иосиф не пользуется любовью народа и войска; про него отзываются самым дерзким образом; по мнению Балабина, династия находится в сильной опасности.

— В настоящую минуту императора Франца-Иосифа действительно бранят на все лады. Народная ненависть, однако, направлена не лично против него и не против монархического принципа, а против административного произвола, против конкордата и полицейских порядков. Отменит он существующую систему правления, и всё переменится, снова его станут хвалить и почитать. А что касается династии, так позвольте доложить вашему, величеству: все народы главным образом живут привычкой, и австрийские народности, какого бы племени ни были, привыкли гнать над собой дом Габсбургов и не на шутку задумаются подчинить себя другой, незнакомой им власти — хуже может выйти.

Балабин, человек более остроумный, чем разумный, любил, прислушиваясь к собственной речи, играть фразой и метафорой, что и приводило его, рассуждая о политических делах, потоком своего красноречия не редко увлекаться за пределы здравого смысла. И в оценке австрийских дел он тут же, суток не прошло, кинулся из одной крайности в другую. Франц-Иосиф не прибыл ещё, как из венского посольства Балабину сообщили манифеста, которым австрийским подданным объявлялось, что дипломом от 20-го октября император вводит новую государственную организацию. На основании этого диплома верховная власть обязывалась все законодательные, административные и финансовые вопросы решать только при содействии государственного совета, усиленного определённым числом членов, избранных из среды провинциальных сеймов. Всем австрийским провинциям возвращались их прежние статусы и самостоятельное управление. В Венгрии восстанавливались комитаты, и с уничтожением центральных имперских министерств внутренних дел, юстиции и духовных дел вновь учреждалась

до восстания при императоре существовавшая венгерская канцелярия (Ungarische Hof-Kanzelei). Бенедек, занимавший должность венгерского наместника, назначался командующим войсками в венецианской области.

С этим известием в руках Балабин принялся проповедовать, что Австрия совершенно переродилась, умы успокоены, и народные желания удовлетворены свыше, чем позволено было ожидать. Par ce coup de théâtre L'empereur d'Autriche a completemenl changé la face des choses; je ne m'attendais pas de sa part un te acte d'abnégation, — говорил он каждому посвящённому и непосвящённому в политические дела — не все только верили ему на слово.

Выходило не то: венгерцы оставались неудовлетворёнными; диплом не давал им полной автономии, которой они домогались; немецкие и славянские провинции считали себя обиженными, не получив тех прав, которые были даны Венгрии. Диплом 20-го октября отнюдь не следовало считать последним словом в деле преобразования Австрийской империи; он был только этапом на пути к позже данной, ныне существующей конституции.

Неудовольствие, царившее в Австрии, уменьшилось, но совершенно не было прекращено. Балабин ошибся в существенном значении диплома, как он ошибался, считая Австрию, до его публикации, осуждённую погибнуть без всякого спасения.

Начались маневры, смотры и учения, в перемежку с парадными обедами, театрами и празднествами всякого рода — не имелось времени дух перевести. Весь день проходил в явлениях и представлениях, в скачке из конца в конец Варшавы и в переодевании из одной формы в другую. Народ глазел, под давлением полиции восторгался, покрикивал «ура», но от наблюдательного глаза уже тогда не могло ускользнуть, что поляки готовятся к чему-то недоброму. Из всех дорогих затей, устроенных для забавы чужестранных гостей, обратила на себя особенное внимание чудная иллюминация в Лазенках, превосходившая разнообразием и блеском все известные европейские иллюминации.

Во время маневров случилось со мной два, в моей памяти сохранившееся, эпизода. Военный министр, Николай Онуфриевич Сухозанет, несколько раз мне поручал следить за тем или другим делом и сообщать ему мои замечания. В то время, по примеру Франции, в большей части европейских армий стали заводить нарезные орудия

системы Лагита, причём и у нас была сформирована подобного рода пробная батарея. Приказал он мне, между прочим, во время артиллерийской пальбы в мишени, наблюдать за огнём этой батареи для оценки его сравнительно с меткостью, принадлежащею австрийской артиллерии. Батарея не стреляла особенно метко: снаряды не долетали до мишени или перелетали. Государь Александр Николаевич, до крайности рассерженный плохим действием батареи, подскакал к батарейному командиру и в присутствии иностранцев осыпал его самыми нелестными упрёками. Артиллерийский полковник что-то хотел сказать, но государь, не слушая, крикнул — молчать! — и ускорил.

Глубоко оскорблённый полковник обратился ко мне:

— Слышали вы? скажите, что остаётся мне делать? — пустить себе пулю в лоб.

— По моему, погодите, нечего ещё стреляться вам. И другим приходилось страдать от царского гнева, а продолжают жить и процветать. Впрочем, признайтесь, полковник, что вам хоть и больно досталось, но не без всякой причины. Ваша батарея действительно не отличалась меткостью, которую позволено требовать от нарезных орудий.

— Совершенно справедливо, да не моя вина. Опыты над нарезными орудиями производили мы прусским порохом, к нему применились, а вчера вечером для сегодняшней пальбы мне отпустили русский порох; разница велика в силе того и другого пороха, нельзя сразу применить. Хотел я государю сказать, но вы сами видели, как государь мне не дал слова выговорить. — Полковник махнул рукой — покончу, да и только!

Тем временем к нам подъехал красивый молодой человек, со звездой на уланском мундире, в котором я не замедлил узнать цесаревича-наследника, покойного Николая Александровича.

— А что? — обратился он ко мне, — плохо стреляет наша нарезная батарея!

— Точно так, ваше высочество; государь по этому поводу высказал батарейному командиру своё неудовольствие в таких прискорбных словах, что он только и думает застрелиться; а полковник между тем нимало не виноват.

— Как не виноват? Вина очевидна!

Я объяснил великому князю дело о порохе.

Выслушав меня, цесаревич подъехал к батарейному командиру, стал его утешать и обещал немедленно доложить государю императору, отчего батарея давала промахи. Цесаревич действительно исполнил своё обещание, и государь на другой же день, призвав несчастного полковника, загладил ошибочно ему нанесённую обиду.

Другой эпизод может служить примером, как некоторые господа понимают, и как далеко, совсем не к благу его, они распространяют свою преданность к царствующему лицу.

На другой день после артиллерийского учения было мне поручено наблюдать за общим ходом маневра и военному министру сообщать о замеченных мною тактических ошибках. Увидав, что несколько батальонов сомкнутыми колоннами атакуют лес, занятый противником, и, кроме того, останавливаются для пальбы в открытом поле, я указал на это обстоятельство генералу Сухозанету, заметив, что, по моему мнению, лес следует атаковать бегом, густою цепью, поддержанною сильными резервами, не теряя времени на бесполезную перестрелку, колоннам же идти лишь в третьей линии, почему и считаю маневр ошибочным.

В это мгновение за моими плечами раздался картавый голос незаметно подъехавшего флигель-адъютанта А.

— Как вы только можете это говорить, когда сам император так приказал!

Генерал Сухозанет поморщился, а мне оставалось только умолкнуть.

Неведомо было мне, что сам император так приказал; но если бы я даже знал, то не стал бы говорить против своего убеждения. И цари могут ошибаться, а лестью прикрывать каждую их ошибку есть дело не преданности, а противного раболепства, наводящего их только на новые, государству и им самим одинаково вредные ошибки.

По установленной программе следовало государю и его гостям ещё три дня оставаться в Варшаве, как весть из Петербурга о смертельной болезни престарелой государыни Александры Фёдоровны положила конец их пребыванию. Октября 30 (нового стиля) мы собрались в Лазенковском дворце проводить государя, спешившего в Петербург, куда он поспел перед самой кончиной своей родительницы. Сам он накануне заболел простудой; в шубу закутанный, спустился с лестницы, собираясь сесть в карету, а тут, будто назло ему, от излишнего рвения, разбили стёкла в карете. Задержанный император сердился, князь М. Д. Горчаков суетился,

придворный люд метался во все стороны, стекла же и стекольщика не знали, где отыскать. Наконец, после долгой задержки, дело было исправлено, государь уселся, и карета тронулась. Несколько часов спустя, уехали из Варшавы император австрийский и принц-регент прусский, впоследствии император германский. Я же, не знаю с чего, из этого съезда высочайших особ вынес два ордена. Пред своим отъездом император Франц-Иосиф мне прислал Железную Корону 2-й степени; месяц спустя, в Вену мне был прислан прусский орден Красного Орла той же степени.

Надел я новополученный орден и отправился к прусскому посланнику в Вене, барону Вертеру, просить его повергнуть к стопам его высочества принца-регента выражение моей глубочайшей благодарности за пожалованное мне отличие.

Выходя от него, повстречался я с каким-то австрийским генералом. Взглянув на меня, увидел он белый крест и спросил:

— Вы получили Красного Орла — за что?

— За то, что не упускал при встрече кланяться прусскому королю; другой заслуги не знаю за собой.

Хохловкин М.

Из венских воспоминаний 1913–1914 г.

С профессором русской истории Гансом Иберсбергером я познакомился во время моего пребывания в венском университете. В декабре 1913 г. посетил я его первую лекцию, которая оказалась посвященной Петру В., как реформатору, и служила введением к курсу истории России в XVIII столетии. Обильное употребление русских цитат, в большинстве случаев взятых из Ключевского, ссылки на множество самых разнообразных русских источников — все говорило за то, что профессор владеет русским языком.

Представившись профессору тотчас же после окончания им лекции, я убедился в правильности своего предположения. Несмотря на сильный акцент, он сравнительно хорошо говорил по-русски. Видимо обрадовавшись, что я из России и интересуюсь его предметом, Иберсбергер сразу заговорил о том, что он знает и любит Россию: ведь он сам жил в Москве несколько лет, когда специализировался в тамошнем университете у проф. Ключевского, и назвал «лазурной» эту пору своей жизни. К тому же времени относится и его знакомство с Кассо, бывшим тогда профессором университета, с которым находится в самых дружеских отношениях, часто видится с ним и даже состоит в постоянной переписке. Профессор долго и много еще говорил о России и в заключение пригласил меня посещать университетский семинарий для изучения «восточноевропейской» истории.

На следующий день профессор, с большой гордостью показывая мне обширную историческую библиотеку семинария, заявил, что, благодаря ей, последний стяжает европейскую славу. И тут же он рассказал вкратце историю возникновения своего детища.

В начале девятисотых годов австрийским послом в Петербурге был известный меценат кн. Лихтенштейн — искренний русофил и горячий сторонник австро-русского сближения. Его постоянной мыслью было введение при венском университете специальной кафедры по русской истории и основание в дополнение к ней особого учебного института, которыми бы он мог привлечь своих соотечественников к изучению России. Для этой цели князь приобрел в 1904 году богатую историческую библиотеку, оставшуюся после смерти В. А. Бильбасова. Книги и рукописи

были отправлены в Вену, где, пользуясь своим огромным влиянием, необходимым для преодоления сильного противодействия со стороны профессоров-русофобов (а их всегда было много!), кн. Лихтенштейн настоял на открытии так называемого «русского семинария». Руководителем его был назначен известный своими трудами по истории Византии и славянства проф. Иречек, хотя фактически его обязанности исполняет сам Иберсбергер, который и занимает кафедру русской истории на философском факультете.

Сделавшись впоследствии частым посетителем «русского семинария», я много раз подолгу беседовал с профессором на темы по внешней политике. Ученый историк, автор большого и серьезного труда о России («Russlands Orientpolitik», Stuttgart. 1913.)²²⁾, один из самых плодотворных сотрудников берлинского журнала «Zeitschrift für osteuropäische Geschichte», знаток и любитель политики вообще, а России и Австрии в особенности, Иберсбергер с необычайным интересом следил за ходом международных отношений и с горячностью австрийского патриота отзывался на все важные политические события. Несомненная причастность Иберсбергера к министерству иностранных дел и генеральному штабу, большие знакомства в дипломатическом мире — все это давало ему полную возможность быть в курсе политики. А доктор Соколовский (бывший долгое время венским корреспондентом «Русского Слова»), хорошо знакомый с кулисами австрийских правящих сфер, говорил мне, что ему гораздо более странными кажутся русофильские тенденции Иберсбергера, чем его осведомленность, так как достоверно известно, что он состоит негласным советником эрцгерцога Франца-Фердинанда в русских и русинских делах.

Свою близость к военным кругам Иберсбергер обнаружил в одну из первых бесед со мной, когда речь зашла о полковнике австрийского генерального штаба Редле. В 1912 г. много шума наделало его самоубийство, и впечатление о нем в Вене было еще очень живо. По мнению Иберсбергера, Австрия, после измены Редля, могла очень легко пасть жертвой России. Если бы Россия, рассуждал он, воспользовалась моментом и не дала бы времени австрийскому штабу совершенно изменить

²²⁾ Об этом труде Иберсбергера А. А. Кизеветтором написана обширная рецензия в № 8 — 9 «Русской Мысли» за 1914 г. Краткое ознакомление с этим трудом читатель найдет в помещаемой ниже в отделе библиографии рецензии В. И. Пичеты.

расквартировку корпусов — усадить славянские, как самые неблагонадежные, из Галиции и заменить их тирольскими, то Австрии тогда бы не одобровать. И тут же для иллюстрации своих слов Иберсбергер изобразил схему расположения австрийских войск до и после измены Редля, выказав при этом на редкость детальное знание дислокации, что, только подтверждая слова о нем д-ра Соколовского, говорило об известной роли, которую играл профессор в штабе.

Когда я попытался медлительность России объяснить полным отсутствием у нее агрессивных стремлений по отношению к Австрии, Иберсбергер иронически предложил мне предоставить судить об этом их военному министерству. Там, говорил профессор, хорошо осведомлены о том, что теперь делается в России: у власти находится большинство националистов (в их числе он считал также премьер-министра Коковцова, который, по его словам, продолжал политику своего предшественника — Столыпина). Движимые панславистскими идеями, они стали на путь открытого разрыва с Австрией. Любопытно отметить, что назначение Горемыкина на пост председателя совета министров являлось в глазах Иберсбергера большим поворотом в сторону улучшения русско-австрийских отношений. Вот какое предположение высказывал он, приветствуя перемену главы совета министров, в передовой статье, специально написанной им для «*Neue Freie Presse*»: «В области внешней политики Горемыкин внесет некоторое успокоение, так как окажется менее податливым влиянию националистов, жаждущих конфликта с Австрией».

Скоро, однако, выяснилось, насколько недолговечным было это успокоение. Месяц спустя после помещения своей статьи, т.-е. в первых числах февраля 1914 года, Иберсбергер советовал мне, как военнообязанному, поспешить с отъездом в Россию. «На днях», сказал он, «меня посетил один видный дипломат — имя его хорошо известно всей читающей публике. Он не сомневается, что война неизбежна в самом близком будущем».

Вообще я должен сказать, что в эту зиму в Вене буквально все, начиная с солидных газет и кончая юнцами-школьниками, были заняты предстоящей войной с Россией, отнюдь не сомневаясь в том, что начнется она в самом недалеком будущем. Печать и общество усиленно цитировали предостережение берлинской «*Vossische Zeitung*», советующей «не доверять обещаниям русских дипломатов, ибо всем ясно, что Россия своим

шпионажем подготавливает аннексию Угорской Руси и Галиции». И, действительно, не проходит дня, чтобы газеты, в подтверждение всех русских поползновений на Галицию, не сообщали о каком-нибудь новом сенсационном процессе о шпионаже в пользу России. По составу преступления они в общем мало отличались один от другого: шпионаж в пользу России вменялся в вину братьям Седомиру и Александру Янричам, Кеппу (из Загреба), группе русских подданных; стремление к сепаратизму — львовским депутатам: писателю Бендасюку, священника Сандовичу и Гудиме; братьям Геровским из Черновиц и, наконец, обвиняемым угро-руссам в Мармарош-Сигетском процессе. Указывалось газетами также, что Россия, помимо своей пропаганды мирным путем, не гнушается и террористическими актами — так прокурор, который вел следствие по делу покушения на епископа Миклоци в Дебречине, высказал предположение, что адская машина была русского происхождения и являлась мстью за суровый приговор, вынесенный Мармарош-Сигетским судом. В свое время было отмечено не только русской, но также и частью немецкой печати, тот факт, что о ходе процесса братьев Янричей были впервые опубликованы подробные судебные отчеты. «*Neues Wiener Journal*», газета, которую вряд ли можно было обвинить в русофильстве, напоминала об установившейся в этике международных отношении традиции не разглашать щекотливых подробностей о ходе следствия и процесса, связанного с именем соседней державы. А в деле Янричей, не говоря уже о том, что традиция эта не соблюдалась, но и искусственно были подобраны факты с целью оказать известное влияние на и без того напуганное и возмущенное Россией общество — так в печати без всякого стеснения назывались фигурировавшие в процессе имена бывшего русского военного агента в Вене Занкевича и его жены.

Особенно неистовствовал по этому поводу орган эрцгерцога «*Reichspost*». В статье, написанной с большим пафосом, озаглавленной «На службе России», последняя картинно сравнивалась с чудовищем, окружавшем Австрию дыханием опасности, и чуть ли не все государственные преступления вменялись в вину России — подстрекательнице и искусительнице честных офицеров — Янричей. К слову сказать, «честные офицеры» были завербованы еще полковником Редлем, и мотивы личного предательства, вызванного материальным соблазном, вряд ли подлежали сомнению, хотя усиленно замалчивались

всеми венскими газетами. После этого и после патетических пророчеств алармистской «*Militarische Rundschau*», что «Россия воспользуется небдительностью и неподготовленностью своих противников», уже не казалось странным, что военные законопроекты в обществе никакой оппозиции не встречали, а русофобство дошло до апогея.

Так депутату рейхсрата, доктору Маркову, было запрещено произнести в Вене речь на русском языке, в Праге неразрешено было открыть русский клуб. Обычно в Австрии такие клубы открывались явочным порядком, и общее недоумение, которое вызвало это запрещение, было разрешено поистине исторической мотивировкой пражского директора полиции, что «Австрия находится накануне войны с Россией» (в феврале 1914 г.!).

В конце концов правительство и печать добились того, что для русских подданных пребывание в Австрии сделалось прямо невыносимым. К ним беззастенчиво придирались, всячески преследовали, а поездной прислуге железных дорог в Галиции (так назыв. Северных) были преподаны особые драконовские инструкции, которыми она должна была руководствоваться по отношению к русским. В свое время обратил на это внимание русский посол Шебеко и сделал энергичное представление австрийскому правительству.

Интересно отметить, что и в университете студент, узнав, что его collega из России, мог ему преспокойно задать вопрос, не шпион ли он...

Мне однажды пришлось быть свидетелем, как весьма далекий от национализма профессор анатомии Тандлер очень любезно беседовал с двумя русскими студентами, вероятно, по именам их принимая за сербов, но, когда узнал, что они из России, он, недолго думая, грубо указал им на дверь. На ряду с этим как бы подчеркивалось очень благожелательное, почти заискивающее отношение к балканским славянам.

10-го марта 1914 г. Вильгельм, проездом из Берлина на остров Корфу, останавливается в Вене для посещения своего престарелого союзника, а русская печать следующим образом реагирует на это событие.

«Новое Время» помещает ряд статей, под общим заглавием «К европейской неурядице», тотчас же перепечатанных и другими газетами, посвященных злободневному вопросу — восстановлению прочного мира. В этих статьях несколько видных дипломатов, среди которых наиболее заслуживающим доверия был «высокоавторитетный сановник, в течение

долгих лет стоявший у кормила правления и по своему высокому положению следивший за вопросами внешней политики», предлагали проекты ликвидации угрожающей миру «европейской неурядицы». Проекты эти «Русское Слово» поместило под недвусмысленным заголовком «Планы раздела Австрии», потому что все они были направлены к одной цели — принесения Австрии в жертву общей идее мира и разделу ее заключившими новый союз Германией, Россией и Францией. Вот к чему в кратких словах сводились эти рассуждения: Россия, получив родственную Галицию, без сомнения удовольствуется ею, Францию вполне удовлетворит отнятая у нее Эльзас-Лотарингия, Германия с большой радостью присоединит немецкие земли, входящие в состав габсбургской монархии, славянские же отойдут к граничащим с ними балканским государствам, а Чехия и Венгрия станут автономными. Австрия и так еле держится в слабых руках Франца-Иосифа и не подлежит никакому сомнению, что со смертью его она все равно распадется, а развал этот, как видно из приведенной «схемы», можно с успехом утилизировать на пользу мира. На весь этот химерический план не обратили бы в Вене большого внимания, к юмористическим выпадам нововременских политиков там уже в достаточной мере привыкли, но в этой последней утке фигурирует сам Вильгельм, который, по словам одного из «высокоавторитетных дипломатов», не только посвящен в их планы, но и сам не так уже давно находил их вполне рациональными, охарактеризовав Франца-Иосифа, *как человека, поддерживающего разлагающийся труп*. А самым сенсационным в нововременских статьях было, конечно, то, что принорованы они были как раз к приезду Вильгельма в Вену.

Я уже приводил примеры того, как вообще мало стеснялась в выражениях венская печать, когда дело касалось России, но теперь она буквально перешла всякие границы приличия. По мнению Иберсбергера, главной причиной страшного возмущения, охватившего прессу, явилось вполне обоснованное убеждение, что истинный инспиратор этого «злого навета» на Вильгельма никто иной, как сам Сухомлинов. Хотя и не совсем можно доверять этой версии Иберсбергера, который всегда отзывался о Сухомлинове весьма неодобрительно и был склонен вообще все дурное приписать ему, однако она в достаточной мере говорит о том, как серьезно посмотрели в Вене на эту газетную авантюру и как высоко искали источника ее возникновения. Характерно отметить, что оппозиционно настроенная венгерская печать отнеслась к этой утке очень доверчиво.

Особенно забил тревогу «Magyar orszag», орган одного из вождей оппозиции, гр. Карольи, и, к ужасу всех пангерманистов, категорически заявил, что «*план раздела габсбургской монархии не выдуман русскими газетами, а родился в умах союзной нам Германии*». И в народе приезд Вильгельма истолковывался приблизительно в таком же духе. Так один старичок-русин, лукаво улыбаясь, говорил мне: «Вы думаете, что мы, простые русины, не понимаем, о чем разговаривать приехал Вильгельм с нашим императором. Франц-Иосиф и сам ничего не имеет против раздела Австрии. Он только попросит обождать его смерти: при жизни ему это грозит революцией, а он стар и ему вредно волноваться». И добавил: «это не только я говорю — у нас все образованные в этом уверены».

А в общем, время тогда было в Вене действительно тревожное. Когда бутафорские дипломаты нововременских интервьюеров измышляли невероятные планы группировки держав и соблазнительно предвкушали их последствия, а русская печать и общество как-то снисходительно благодушевствовали и подтрунивали над бряцанием оружия австро-германских военных кругов, были заняты главным образом внутренней политикой: заполняли своими циркулярами и проектами столбцы газет Кассо, Маклаков и Щегловитов, а их идеолог Меньшиков — этот «*interessanter Narr* русской журналистики», как его окрестил проф. Иберсбергер, — искал погибели для России в инородческом засилье и изощрялся в вопросах, касающихся «жидов, мазепинцев и финляндцев», австро-германская печать тогда тоже была своего рода «Новым Временем», но не по отношению к своему народу, а для русских, России и ее агрессивной политики. Австро-германские правящие сферы энергично искали шпионов, втировали все новые и новые военные законопроекты, а главное всеми силами старались подготовить общество и сроднить его с той мыслью, что война с Россией необходима и может начаться в каждый грядущий день.

Приложение.

Зорин А.

«Венский журнал» Андрея Тургенева

Документ, который публикуется в этой статье, самым непосредственным образом связан для меня с памятью о Ларисе и биографически, и по своему содержанию. С тех пор как почти четверть века назад Лариса, по одновременным рекомендациям К. Азадовского и А. Ошовата, взяла меня под свое покровительство, и до настоящего времени рукописи Андрея Тургенева составляли один из главных предметов моих занятий в пушкинодомском архиве. В 80-е годы большая часть саκραментального триста девятого фонда еще не была как следует описана, и его материалы выдавались только при условии, что номер единицы хранения был откуда-то заранее известен интересующемуся исследователю. Само собой разумеется, мои чаяния и возжелания простирались куда дальше нескольких дел, ссылки на которые уже были введены в оборот предшественниками, и Лариса со спокойной и самоотверженной щедростью, которая столь памятна тем, кто ее знал, в каждый мой приезд изыскивала возможность незаметно положить на мой стол маленькую черную тетрадку со служебной описью, откуда я мог списать заветные цифры. Дальше требования оформлялись уже вполне рутинным и законным образом. Как и многие другие поступки Ларисы, это было для нее довольно рискованным предприятием — когда моя первая «тургеневская» статья готовилась к печати²³. Лариса строго-настрого запретила мне благодарить ее за помощь.

Надеюсь, что публикация документа, о самом существовании которого без ее помощи мне, скорее всего, не удалось бы узнать, будет хотя бы слабым знаком моей признательности за двадцать лет ее неизменной дружеской поддержки.

Основную часть рукописного наследия Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803) составляют его дневники²⁴, в которых отразились во многом

²³ См.: Зорин А. У истоков русского германофильства // Новые безделки: Сб. статей к 60-летию В. Э. Вацура. М., 1995 – 1996. С. 8 – 35.

²⁴ Рукописный отдел Института русской литературы (РО ИРЛИ). Ф. 309. Ед. хр. 271, 272, 1239, частично 276.

новаторские для русской культуры практики психологической рефлексии и душевного самоанализа²⁵. На фоне этих глубоко интимных документов его «журналы» — путевые заметки в письмах друзьям выглядят на первый взгляд более конвенционально и в целом вписываются в традицию, созданную «Письмами русского путешественника» Н. М. Карамзина. По-видимому, Тургенев ясно ощущал эту линию преемственности и слегка тяготился ею: «...это уж слишком по-Карамзински», — комментирует он в публикуемом тексте один из своих перифрастических оборотов. «Журналов» Тургенева сохранилось два, и оба они связаны с опытом его службы при русской миссии в Вене, куда Тургенев дважды ездил в качестве дипломатического курьера.

В первый раз Тургенев выехал из Петербурга 6 февраля 1802 г.²⁶ и прибыл в Вену 17 февраля (1 марта по европейскому календарю). Установить точную дату его отъезда из Вены не представляется возможным. Последняя запись «Журнала» («Укладывают мои вещи») датирована 23 февраля/9 марта, но эта дата явно ошибочна, поскольку 23 февраля по старому стилю соответствует не 9, а 7 марта европейского календаря. Цифры сойдутся, если предположить, что неизвестный переписчик рукописи прочитал дату: 25 февраля как 23. Во всяком случае, 14 марта по русскому календарю Тургенев записал в своем петербургском дневнике: «В один месяц съездил я в Вену»²⁷. Можно предположить, что он прибыл в Петербург незадолго до этого, а значит должен был выехать из Вены в конце февраля — начале марта по старому стилю.

Второе пребывание Тургенева в Вене было более продолжительным. Он отправился туда вскоре после 17 мая 1802 г.²⁸, а вернулся в Петербург 1 февраля 1803 г.²⁹ Неудивительно, что оно гораздо полнее отразилось в его бумагах: дневнике, охватывающем период с начала сентября до конца его венской жизни³⁰, письмах родителям³¹ и А. С. Кайсарову³², а также

²⁵ См.: *Топоров В. Н.* Два дневника (Андрей Тургенев и Исикаро Такубоку) // Восток – Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1989. С. 78 – 99. См. там же публикацию большого фрагмента дневника: Из дневника Андрея Ивановича Тургенева / Публикация и комментарии М. Н. Виролайнен. С. 100 – 139.

²⁶ См.: *Вацуро В. Э., Виролайнен М. Н.* Письма Андрея Тургенева к Жуковскому // Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 401.

²⁷ Восток – Запад. С. 119.

²⁸ Там же. С. 127.

²⁹ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1238. Л. 57.

³⁰ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1239.

журнале, рассказывающем о его летней поездке с послом в Карлсбад и последующей жизни в Вене³³. Журнал этот Тургенев писал в подражание «Письмам русского путешественника» в форме писем В. А. Жуковскому и А. Ф. Мерзлякову, однако 14/26 января 1803 г., незадолго до отъезда из Вены, он отправил его в Геттинген брату Александру и А. С. Кайсарову³⁴.

В то же время публикуемый «Журнал» — единственное, если не считать краткого письма отцу от 19 февраля 1802 г.³⁵, сохранившееся свидетельство о его первом заграничном путешествии.

Адресат «Журнала» («любезный друг мой») может быть с большой степенью вероятности установлен по его содержанию. Тургенев пишет в Москву, между тем как его самый близкий друг Андрей Сергеевич Кайсаров находился в то время в Петербурге вместе с братом Тургенева Александром³⁶.

Карлсбадский журнал Тургенева³⁷ был, как уже говорилось выше, адресован В. А. Жуковскому и А. Ф. Мерзлякову, однако чрезвычайно загруженный в ту пору преподаванием в университетской гимназии Мерзляков плохо подходит под описание человека, обладающего «независимостью» и «свободой располагать собой и своим временем». В то же время такая формула идеально соответствует сложившемуся в сознании Тургенева образу Жуковского, чью службу в соляной конторе оба они в ту пору воспринимали как sineкуру. За неделю до отъезда в Вену Тургенев писал Жуковскому: «Но ты, кажется, не можешь не быть доволен своей участью. Уединение, независимость, легкая должность. В перспективе весна и деревья!»³⁸. Стоит добавить, что Жуковский был конфиденнтом Андрея Ивановича в нелегкой истории его романа и помолвки

³¹ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1238.

³² РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 840.

³³ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1240.

³⁴ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1239. Л. 52об. Восторженный отзыв Александра об этом журнале в его дневниковой записи от 22 января / 3 февраля см.: Тургенев А. И. Дневник // Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. СПб., 1911. С. 186. Подробнее об этом см. в комментарии В. М. Истрина к этой записи (там же. С. 487 – 488).

³⁵ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1238. Л. 5.

³⁶ См.: *Истрин В. М.* Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев // Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. С. 122 – 125.

³⁷ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1240.

³⁸ *Вацуро В. Э., Виролайнен М. Н.* Письма Андрея Тургенева к Жуковскому. С. 396.

с Екатериной Михайловной Соковниной, разворачивавшейся непосредственно перед его первым отъездом в Вену³⁹.

Разумеется, такая адресация носила достаточно условный характер — тургеневские журналы предназначались для чтения всем кружком молодых друзей автора, а, возможно, и за его пределами. Во всяком случае, Жуковский полагал, что он, по крайней мере в извлечениях, достоин публикации. После смерти Андрея Ивановича в 1803 г. он просил его отца Ивана Петровича разрешения «сделать выбор из писем А. И. (...) и быть их издателем», а, начав через несколько лет исполнять обязанности издателя журнала «Вестник Европы», спрашивал Александра Ивановича Тургенева: «Нет ли чего в бумагах братниных? Я думаю некоторые статьи из его журнала, писанного в чужих краях, могли бы годиться»⁴⁰.

Этим намерениям не суждено было осуществиться, однако в 1808 г. Жуковский вновь писал Александру Тургеневу:

«Костогоров (старый приятель Тургеневых и сестер Соковниных. — А. З.) просил тебя о журнале брата, писанном в Вене для А(нны)М(ихайловны), а не для К(атерины) Михайловны). Доставь ко мне, если хочешь, а то лишь об этом напиши. К. М. не все можно показывать, ты сам знаешь»⁴¹.

Под «журналом брата, писанном в Вене», Жуковский не мог иметь в виду дневник, который Андрей Иванович вел с сентября 1802 г.⁴², где, в частности, довольно откровенно рассказывается о его романе с баронессой по имени Фанни. Если Жуковский вообще был знаком с этим документом, он, безусловно, не считал бы его подходящим чтением не только для невесты Тургенева, но и для ее сестры. Вполне вероятно, что речь шла о журнале путешествия в Карлсбад, хотя в нем записи, посвященные собственно Вене, не составляют большей части текста. Но возможно, Анна Соковнина, Костогоров и Жуковский интересовались именно венским журналом февраля 1802 г., хранившимся, так же как и карлсбадский

³⁹ См.: Восток — Запад. С. 101 — 130; Вацуро В. Э., Виролайнен М. Н. Письма Андрея Тургенева к Жуковскому. С. 391- 400 и др.

⁴⁰ Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895. С. 11, 35.

⁴¹ Там же. С. 42.

⁴² РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1239.

журнал, у младшего брата покойного⁴³. Во всяком случае именно эта рукопись, единственная из всех оставшихся от Андрея Ивановича, дошла до нас в копии и со следами редакторской обработки.

Мы можем только строить предположения относительно того, что именно здесь Жуковский считал неуместным показывать Екатерине Соковниной. Возможно, ему казалось, что невесту покойного друга могло задеть то, насколько малое место в записях Тургенева занимала только что пережитая им драма любви и разлуки и насколько не хотелось ему возвращаться на родину.

Неизвестно, кем именно и когда была изготовлена копия, по которой печатается «Венский журнал». Во всяком случае, почерк, которым она написана, не принадлежит ни Жуковскому, ни Александру Тургеневу, ни Кайсарову. Обнаружить подлинный текст пока не удалось. Также неясно, самому ли Андрею Ивановичу или кому-то из его друзей принадлежит своего рода литературная обработка журнала, отразившаяся, в частности, в финальной записи, сделанной в Петербурге и отчетливо ориентированной на последний фрагмент «Писем русского путешественника» («Берег! отечество! благословляю вас! Я в России...»⁴⁴).

Не исключено, что в тексте «Венского журнала» можно обнаружить и другое свидетельство позднейшей редактуры. Дело в том, что два драматических спектакля, о которых рассказывает Тургенев: «Эмилия Галотти» Лессинга и «Служебный долг» Иффланда, действительно шли соответственно 4 и 6 марта нового стиля в Kärntnertortheater — одном из двух зданий, где играла труппа венского придворного театра⁴⁵. Напротив, опера Моцарта «Волшебная флейта», о которой говорится в записи от 5 марта, в этот день не исполнялась; если верить авторитетному справочнику Ф. Хадамовски, в Kärntnertortheater в этот день шел другой спектакль, а в Burgtheater никакого представления не было⁴⁶. Этому противоречию можно подыскать разные объяснения, например, предположить ошибку

⁴³ 14/26 января 1803 г. Тургенев записал в дневнике, что «ходил на почту и отправлял к брату свой журнал» (РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1239, Л. 52об.), но установить, о каком именно документе идет речь, не представляется возможным.

⁴⁴ Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 388.

⁴⁵ Hadamowsky Franz. Die Wiener Hoftheater. Statstheater: 1776 – 1966. Verzeichnis der aufgeführten Stücke mit Bestandsnachweis und täglichen Spielplan: Bds 1 – 2. Bd 1: 1776 – 1810. Vienna, 1966. S. 28, 36.

⁴⁶ Hadamowsky Franz. Täglichen Spielplan der Hoftheater 1776 Bis Ende 1810. Vienna, 1966. 46 – 47.

в справочнике или какое-то, не отразившееся в источниках, исполнение оперы на нетрадиционной площадке. Однако не исключено, что в журнал была задним числом перенесена более поздняя запись Тургенева, зафиксировавшая его впечатления от посещения оперы Моцарта во время его второго пребывания в Вене. В эти месяцы «Волшебная флейта» исполнялась дважды — 20 июня и 8 июля⁴⁷.

Если последнее предположение верно, то фраза в записи 6 февраля о том, как автор «с восторгом смотрел на обвороченную флейту», также является позднейшей интерполяцией.

Как бы то ни было, театральные впечатления занимают центральное место в «Венском журнале». Завзятый театрал, Тургенев описывал виденные им спектакли в своих московских и петербургских дневниках и письмах друзьям. «Самые лучшие и способные к добрым решениям минуты имел я, может быть, в Театре»⁴⁸, — написал он в одной из первых своих дневниковых записей. Попасть в немецкий театр всегда было для него заветной мечтой. Воображая свою жизнь в Германии, он прежде всего представлял себе «театр, где они играют *Сына любви, Cab(ale) u(nd) Liebe*⁴⁹(...) поднимается занавес, я смотрю, сравниваю, разведываю и, проведши вечер с удовольствием (...) возвращаюсь домой и описываю Московским) друзьям все, что видел»⁵⁰.

Позднее Андрей Кайсаров писал ему в Вену, что завидует тому, что Тургенев может увидеть «Коварство и любовь» на немецкой сцене⁵¹. Однако увидеть на немецкой сцене Шиллера Тургеневу не довелось. Из всех шиллеровских пьес в венском театре по цензурным соображениям шла в то время только сильно сокращенная и переделанная «Орлеанская дева»⁵², но и ее постановки не совпали со временем пребывания Тургенева в столице империи Габсбургов⁵³.

Тем не менее можно сказать, что с репертуаром Тургеневу в целом повезло. Прославленная трагедия Лессинга «Эмилия Галотти» вызывала

⁴⁷ Hadamowsky Franz. Die Wiener Hofteater... Bd 1: 1776 – 1810. S. 143.

⁴⁸ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 271. Л. 4об.

⁴⁹ «Сын любви» — пьеса А. Коцебу. «Kabale und Liebe» («Коварство и любовь») — мелодрама Ф. Шиллера.

⁵⁰ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 271. Л. 21 об.

⁵¹ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 50. Л. 48об., 58.

⁵² См.: Yales W. E. Theatre in Vienna: A Critical History. Cambridge, 1996. P. 32 – 33.

⁵³ Hadamowsky Franz. Die Wiener Hofteater... Bd 1: 1776 – 1810. S. 68.

у него огромный интерес. Как известно, именно эту пьесу читал в день самоубийства гётевский Вертер — любимый литературный герой Андрея Ивановича, с которым он многие годы стремился себя отождествить. «Эмилию Галотти» переводил на русский Карамзин, который в 1791 г. на страницах «Московского журнала» с восхищением отозвался об исполнении роли Одоардо Померанцевым:

«Господин Померанцев (...) ни в какой роли столько не удивляет нас своими дарованиями, как в роли Одоардо (...) Какая величавость, какая мужественность в его поступи, в его телодвижениях, когда он выходит на сцену! В жалобном разговоре видно искусство его так же, как и в жарком. Пусть покажут нам актера, который превзошел бы Померанцева в игре глаз, в скорых переменах в лице и голосе! (...) Как пылают глаза его, как гремит его голос, когда он произносит свое заклинание: “Пусть каждое сновидение являет ему окровавленного жениха, ведущего к ложу его невесту свою, и когда он уже прострет к ней сладострастные свои объятия да услышит посмеяние ада и пробудится!”»⁵⁴.

Тургенев помнил и перевод Карамзина, и эту рецензию. 12 января 1800 г. он писал Андрею Кайсарову из Москвы:

«Как мне жаль, что тебя в понедельник не будет, и что ты не увидишь Эмилии Галотти. Ведь ты её никогда не видал; тут-то надобно и видеть Померанц(ева), особливо в последних сценах, а особливо за несколько лет, то есть лет за десять; и прошлого году я видел, очень хорошо, а теперь может быть, еще больше постарается, да постыдятся и посрамятся врази его, и потому что его бенефис»⁵⁵.

Упоминание о том, что «лет за десять» Померанцев, возможно, играл сильнее, несомненно отсылает к карамзинской рецензии, а в «Венском журнале» Тургенев цитирует в карамзинском переводе реплику Одоардо, которая некогда потрясла и самого Карамзина, и выражает убежденность в том, что эта фраза удастся Померанцеву лучше, чем ведущему актеру венской театральной труппы Брокману, исполнявшему ту же роль. Отметим, что мелкие неточности в цитировании свидетельствуют о том, что Тургенев воспроизводил русский текст Лессинга по памяти.

⁵⁴ Карамзин Н. М. Эмилия Галотти // Карамзин Н. М. Избр. сочинения: В 2 т. Т. II. М.; Л., 1964. С. 87. См.: *Кряжиская И. А.* Театрально-критические статьи Н. М. Карамзина в «Московском журнале» // XVIII век: Сб. 3. М.; Л., 1958. С. 270 – 275.

⁵⁵ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 840. Л. 32об.

Для характеристики театральных вкусов Тургенева исключительно интересна проведенная им языковая параллель. Не найдя точного перевода немецкого слова *Gedämpfter*, Тургенев приводит его в скобках, а по-русски передает его как «выразительней». Очевидно, что перевод этот вызывающе неточен. Можно предположить, что Андрей Иванович находил актерскую манеру Померанцева более сдержанной, приглушенной, так сказать «демпфированной», и именно это делало ее в его глазах более «выразительной».

Через два дня Тургенев вновь смотрел в том же театре, также с Брокманом в главной роли, «Служебный долг» (*Dienstpflicht*) Августа Вильгельма Иффланда. Подобно Шиллеру и Лессингу, Иффланд был давней любовью Тургенева и как драматург и как актер. 6 декабря 1799 г. он записал в дневнике:

«Говорили много об Иффланде. Великий человек, во всякой роле он то, что должен быть. В *Sonnenjungfrau*⁵⁶ он настоящий первосвященник, а там какой-нибудь смешной управитель, он *King Lear* Шекспиров, он и Франц Моор и везде неподражаемый, единственный!

Как бы я желал видеть его Леаром, Первосвященником, управителем и Фр. Моором и везде. Возвращаясь, у меня родилось желание непременно перевести *Verbrechen aus Ersucht*⁵⁷ и посвятить ему. Я вообразил себе тихую, спокойную жизнь, которую бы я вел в Hambourg, напр(имер), или в Дрездене, или в Вене, и с каким бы тщанием в этой спокойной, мирной, приятной жизни исправлял я и приводил в совершенство труды свои.

И как бы мне после приятно было посвятить ему этот перевод в знак моего к нему сердечного почтения и любви.

За тот дух доброты, сердечной нравственности, привлекательности и великого человека, который виден в его сочинениях! И естли б, наконец, я имел счастье быть знаком с ним лично, ходить к нему, проводить у него вечера, и заслужить от него отличие и любовь его»⁵⁸.

Особого внимания заслуживает безусловное предпочтение, которое Тургенев оказывает в «Венском журнале» Иффланду перед Коцебу, драматургом, которого он переводил и которым одно время также

⁵⁶ «*Sonnenjungfrau*» («Дева солнца») – название пьесы Коцебу.

⁵⁷ «Преступник из честолюбия» (*нем.*) – пьеса А.-В. Иффланда.

⁵⁸ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 271. Л. 25 – 25об.

восхищался⁵⁹. Теперь Тургенев воспринимает мелодрамы Коцебу как литературу, доступную «и самому необразованному человеку; между тем как Ифландова пьеса может быть не имела бы никакого успеха на нашем Московском театре». Впрочем, отношение Тургенева к Коцебу оставалось достаточно противоречивым: уезжая из Вены, он сетовал больше всего на то, что не увидит в венском театре Брокмана в драме Коцебу «Бедность и благородство души». Эта пьеса, пользовавшаяся огромным успехом в России⁶⁰, сохраняла для него свое обаяние. Позднее, в свой второй приезд в Вену, посмотрев «Несчастных» Коцебу, он писал:

«Коцебу скучен, утрирован, множество лиц, характеров, везде утомительное единообразие и все вышли из пределов натуральности, все утрированы до крайности. Но есть в нем *un certes ne sais quoi*, отчего будешь бранить его пьесу, но пойдешь смотреть ее и не в первой раз»⁶¹.

Нет смысла подробно комментировать все венские впечатления Тургенева. Остановлюсь еще лишь на одном аспекте, связанном не столько с местопребыванием, сколько с личностью автора. Господствующей психологической краской, определяющей настроение двадцатилетнего создателя «Журнала», оказывается ностальгия. «И в самой горести нас может утешать / Воспоминание минувших дней блаженных», — цитирует он свою «Элегию», посвященную старшей сестре Екатерины Соковниной Варваре Михайловне, не выдержавшей тоски по покойному отцу и ушедшей из дому, чтобы найти убежище в монастыре. Тургенев закончил «Элегию» в мае 1802 г., вернувшись на время из Вены в Петербург, но на протяжении работы над ней, продолжавшейся около полутора лет, он знакомил с черновыми вариантами близких друзей⁶².

Точно так же последняя запись в «Венском журнале» рассказывает о посещении Тургеневым посольской церкви, где служил Андрей Афанасьевич Самборский — живая легенда русской церкви, законоучитель императора Александра Павловича и его брата Константина Павловича⁶³.

⁵⁹ Guisemart G. Kotzebue in Russland: Materialien zu einer Wirkungsgeschichte. Frankfurt am Main, 1971. S. 128 – 142.

⁶⁰ Там же.

⁶¹ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1239. Л. 21 об.

⁶² См.: Восток – Запад. С. 127; Вацуро В. Э., Виролайнен М. Н. Письма Андрея Тургенева к Жуковскому. С. 357 – 358.

⁶³ См.: Кросс А. Г. Василий Петров в Англии (1772 – 1774) // XVIII век: Сб. 11: Н. И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. Л., 1976. С. 233.

Самборский приехал в Вену из Офена, предместья Будапешта, где он был настоятелем православной церкви и где годом раньше умерла при родах и была похоронена восемнадцатилетняя великая княгиня Александра Павловна, жена австрийского эрцгерцога Иосифа. Тургенев «долго долго смотрел на картину, представляющую (...) Александру Павловну — во гробе, особенно на мертвое лицо ее». Свои впечатления он выразил цитатой из «Новой Элоизы» Руссо об обреченности всего прекрасного на земле. Цитата эта была в то же время и автоцитатой: именно эти слова Руссо Тургенев использовал в качестве эпитафии для своей «Элегии», посвященной Варваре Соковниной. Нет сомнения, что Жуковский и другие потенциальные читатели «журнала» могли без труда восстановить оба этих контекста.

Однако вполне характерный для эпохи элегический вздох, поиск утешения в воспоминаниях о безвозвратно ушедшей радости — только часть той радикальной ностальгической программы, которую набрасывает Тургенев в «Венском журнале». В своем эмоциональном анализе он идет дальше, утверждая, что только утрата и позволяет человеку почувствовать цену пережитого, и, в конечном счете, ретроспективно придает смысл жизненному опыту:

«Не желай перемены судьбы твоей, или желай только для того, чтобы почувствовать еще живее всю ее цену (...) Благодарю судьбу даже и за разлуку с вами. Я бы никогда не был так привязан к друзьям моим, если бы с ними не расставался; и будучи всегда в Москве, я бы никогда может быть столько не любил ее, и никогда бы не чувствовал того, что теперь чувствую», — пишет он Жуковскому в «Венском журнале». Соответственно, оценить и прочувствовать настоящее оказывается возможным только, если увидеть его из будущего в перспективе неизбежного расставания. Отчетливо Тургенев напишет об этом годом позже, вернувшись в Петербург из второй венской поездки, и всего за три месяца до собственной безвременной смерти: «Приходит весна и я чувствую, что она приходит. Ах! должно благодарить, и с нежностью благодарить судьбу и за сто чувство, и за это кроткое, меланхолическое, сладкое чувство. Будет время, когда и с ним должно проститься.

Теперь-то посвящаются элегии прошедшему, минувшему быстро и невозвратно. Тогда-то смягчаются печали сердечные, и чувство горестного, но приятного умиления, заступает их место.

Какая очаровательная сила прошедшего, когда переносишь теперь в венские дни, нахожу те же заботы, те же неприятности, отчего же они так милы?

Но все прошедшее, почти все еще так же мило. Иное больше другого»⁶⁴.

Намеченный здесь эмоциональный комплекс, нашедший свое каноническое воплощение в пушкинском «Если жизнь тебя обманет» (1825), до сегодняшнего дня звучит в русской поэзии:

... теряя
(пусть навсегда)
что-либо, ты
не смей кричать о преданной надежде:
то Времени, невидимые прежде,
в вещах черты
вдруг проступают, и теснится грудь
от старческих морщин; но этих линий –
их не разгладишь, тающих как иней,
коснись их чуть.
(И. Бродский. *Разговор с Небожителем*)

Когда два с небольшим столетия назад после смерти Андрея Тургенева его близкие переписывали и перечитывали его журнал, он хранил для них память об ушедшем друге. Теперь в копии этого документа проступают «невидимые прежде» черты совсем иного времени и память о Ларисе, не оставляющая на нашу долю ничего, кроме все вытесняющей ностальгии.

⁶⁴ РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1239. Л. 58об. – 59.

Комментарии.

Тургенев А. И. Венский дневник

Приводится по: MEMENTO VIVERE. Сборник памяти Л. Н. Ивановой. Составители и научные редакторы К. А. Кумпан и Е. Р. Обатнина. СПб.: Наука, 2009. С. 49–54.

Сноски принадлежат первым публикаторам текста.

Торнау Ф. Ф. От Вены до Карлсбада (Путевые впечатления)

Приводится по: Русский вестник. 1872. Том 82. № 1. С. 303–360.

Торнау Ф. Ф. Воспоминания барона Ф. Ф. Торнау

Приводится по: Исторический вестник: Историко-литературный журнал. 1897. Том. LXVII. № 1. С. 50–82; № 2. С. 419–447.

Сноски принадлежат автору текста.

Сведения о жизни и деятельности Торнау содержатся в «Энциклопедическом словаре» Ф. Брокгауза и И. Ефрона (т. 33-а, 1901, стр.639), в журнале «Русская старина» (1890, книга седьмая), в книге Д. Д. Языкова «Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц» (вып. 10, М., 1907, с. 76), а также в книгах: Дзидзария Г. А. Ф. Ф. Торнау и его кавказские материалы М: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976; Макарова С. Э. Барон Ф. Ф. Торнау и его воспоминания // Ф. Ф. Торнау. Воспоминания кавказского офицера. М.: АИРО-XX, 2000; Ктиторова О. В, Кужева К. В. Сведения об абазинах в воспоминаниях Ф. Ф. Торнау; Ефремов Ю. К. Тропами горного Черноморья. 2-е изд., дополн. и исправл. Краснодар: ООО Качество, 2008.

Хохловкин М. Из венских воспоминаний 1913–1914 г.

Приводится по: Голос минувшего. 1915. № 12. С. 197–203.

Сноска принадлежит первым публикаторам текста.

Приложение. Зорин А. «Венский журнал» Андрея Тургенева

Приводится по: MEMENTO VIVERE. Сборник памяти Л. Н. Ивановой. Составители и научные редакторы К. А. Кумпан и Е. Р. Обатнина. СПб.: Наука, 2009. С. 37–48.

Сноски принадлежат автору статьи.

Оглавление

Тургенев А. И. Венский дневник	4
Торнау Ф. Ф. От Вены до Карлсбада (Путевые впечатления)	10
Торнау Ф. Ф. Воспоминания барона Ф. Ф. Торнау	64
Хохловкин М. Из венских воспоминаний 1913–1914 г.	133
Приложение. Зорин А. «Венский журнал» Андрея Тургенева	140
Комментарии	151

ВЕНА В РУССКОЙ МЕМУАРИСТИКЕ

Сборник материалов

Составитель Суровцева Екатерина Владимировна

Подготовка оригинал-макета П. Я. Бурьянов

Подписано в печать 29.08.2016. Формат 60х84 / 16.

Гарнитура Times New Roman. Бумага офсетная.

Усл. - печ. л. 8,82. Уч.-изд. л. 9,23. Тираж 100 экз. Заказ 121.

Отпечатано в типографии издательства «Бук»

420029, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25